
Горы
Владимир Зазубрин



Владимир Зазубрин

ГОРЫ

издание второе

Автолитография

Л. Канторовича

Советский Писатель — Москва 1935

Ответственный редактор Ф. Левин
Технический редактор И. Серов.
Отпечат. с матриц. Сдана в печать
14 января 1935 г. Печ. листов
$16^1/_2$+9 вклеек С.П-№ 51 Тир,5.200
Уполномочен. Главлита № В-97385
7 тип. „Искра Революции“ Арбат,
Филиппвский пер. д. 13.

ЦЕНА 5 руб. 50. к.
ПЕРЕПЛЕТ 1 руб

КНИГА ПЕРВАЯ

...им же высота яко до небесе и в горах тех клич велик и говор; и секут гору хотящие просещися.

Нестор. Летопись, 1096 год

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Враг топтал хлебные поля, расхищал зерновые запасы, резал молочный скот, ломал плуги. Незасеянные пашни обрастали космами полыни. Некошенные степи сохли и лысели.

Иван Безуглый ехал на один из боевых участков. В скором поезде — Москва — Новосибирск — он записал в своем дневнике:

«Мобилизовали на работу в деревню. Согласился с радостью. Я люблю горячую работу. Есть у меня в горах и еще зацепа... Я очень доволен».

Безуглый подолгу стоял у окна. Ноги его были широко расставлены. Он сохранил мускульную память о железе, мешавшем ему полтора года перед революцией. В круговращении кривых, голых березников и болот Барабы, в мелькании телеграфных столбов, в шуме неостанавливающихся разъездов, в реве колес и в дыме мчался его тридцать третий год. Избы деревень серыми утками мирно плыли мимо, тесными стадами окружая лебединые белые груди церквей. Поля сражений были пусты. Нигде не было ни окопов, ни колючей проволоки.

Война шла незримо.

Пароход распустил черную гриву дыма. С грохотом стянулись сухие языки сходен. Город закачался и отплыл.

Безуглый любил Новосибирск, город-юношу в гремя-

щей прозодежде. Безуглого никто не провожал. Он махал платком ему — молодому.

По палубе от носа к корме пробежала длинная тень. Город пронес над пароходной трубой свою руку — железнодорожный мост.

Пароход остался один.

Широкая река шуршала на песке отмелей. Правый берег лежал ноздреватым ломтем ржаного хлеба. На берегу, у деревень, стояли бабы со вздувшимися животами и с ребятами на руках. За околицами плескались гогочущие гусиные стаи, паслись отары овец, стада коров. Земля была плодотворна.

Безуглый улыбался земле и беременным бабам. На горизонте работал город-юноша. Его высокие, угловатые плечи дымились. Безуглый снял кепку и помахал ему в последний раз. Ветер бросил Безуглому в лицо холодные капли воды и теплый запах свежего хлеба. Он сел на рубчатую белую скамью. Солнце положило ему на лицо, на грудь, на живот горячие золотые полосы. Он зажмурил глаза. Сотни оранжевых пауков закачались в прозрачных тенетах...

Под Безуглым ранили лошадь. Он стал отставать от отряда. Пули догоняли его. Лошадь упала с перебитыми ногами. Всадник едва успел освободиться от стремян. Его тяжелые сапоги скользили на каменистой, узкой тропе. Над ним обломками остроносых кораблей громоздились скалы. Далеко внизу чернел хаос сломанных мачт леса, белел смятый парус реки. Шума воды Безуглый не слышал.

Пуля пробила ему спину и грудь. Он упал на колени. Кровь залила горло и рот. Раненый увидел, как погрузились носы, кормы и мачты разбитых кораблей и высоко поднялись крутые, темные волны. Он захлебнулся

и выбросил руки вперед, чтобы плыть. Боль ожога опалила живот. На мгновение он понял, что качается с раскинутыми руками и ногами в смолистой паутине веток. Кедр затрещал под ним и пополз в пропасть к зеленым омутам ревущей реки.

Безуглому стало очень тепло. Ему казалось, что он лежит животом на печке. Он с трудом открыл глаза, поднял голову. Кругом шумела и пенилась вода... Над ним стоял высокий, рыжебородый мужик с длинным белым удилищем в руках. Река вынесла раненого на большой, нагретый солнцем камень

Раненый потерял сознание.

Он лежал на спине, на чем-то мягком. Под головой у него — подушка. Светлый четырехугольник искрился пылью на земляном полу против двери. Окон не было. Полутемные углы заставлены пустыми ульями, бадейками, корытцами. Грудь, живот, руки у раненого туго спеленуты.

Рыжебородый резал хлеб. Хрустела поджаренная корка. Каравай раскрывался пахучими, мягкими глубинами. Из туяса свисала в широкую чашку желтоватая лента меда. Рыжебородый склонился над Безуглым и стал класть ему в рот большие, набухшие медом куски.

Ветер заскрипел дверью, взвихрил с пола пыль. За стеной залаяла собака. Рыжебородый поднял голову, торопливо поставил чашку и вышел. Дверь захлопнулась. Избушка заполосатилась золотыми щелями. Безуглый услышал стук копыт и бряцание оружия. Он перевернулся на бок и прижался лбом к щелявой стене. В прозрачных тенетах качались оранжевые пауки. Жирные травяные заросли закрывали горизонт. Трава шуршала и колыхалась под чьими-то сапогами.

В ранах кипел расплавленный свинец. Глаза слези-

лись. Избушка щелилась дырявой паутиной. Раненый замер в мягких, качающихся тенетах...

Безуглый открыл глаза. Избушка рыжебородого Андрона исчезла. Черные тучи заслонили солнце. Ветер похолодел. К Безуглому подошел помощник капитана, в руках у него были блестящие билетные щипцы.

Вода в Оби почернела. Туман выбелил берега. Пароход широким ножом прожектора прорубал себе дорогу. Водяная пыль шумела в колесах. В машинном отделении шевелились шестерни. Пароход подрагивал.

Безуглый невидящими глазами смотрел на воду...

Над горами трепетали серые холстины туманов.

Андрон снял с треноги котелок, положил в костер сырых гнилушек. Дым лохматыми шкурами закрыл пасеку. Андрон подошел к избушке, поставил котелок на стол, неторопливо перекрестился на восток, разломил большой белый калач.

— Питайтеся, Иван Федорыч, бога для.

Безуглый сел рядом. Уха из хайрюзов искрилась жиром, паром лезла через края копченой посудины. Сначала они схлебали щербу, потом выложили в корытце рыбу, крепко посолили. Брали руками. Ели долго и молча, обжигаясь и пачкая бороды. После рыбы на столе в новеньком корытце появился мед — большая золотистая осотина и глубокое деревянное блюдо с холодной водой.

— Макайте, Иван Федорыч, получайте бога для.

Андрон несколько раз рыгнул, вздохнул, обсосал с бороды медовые золотинки, облизал пальцы, вытер их о свою пушистую голову и встал из-за стола.

— Ну, Иван Федорыч, пошли со восподом.

Андрон отвел выздоравливающего Безуглого в пчелиный подвальчик, подождал, пока он лег на свою мохо-

вую постель, загородил его бадейками, пустыми ульями и тихо вышел.

В костре шипели гнилушки. В траве путалась, жужжала выпавшая из улья пчела. Хлюпал ключ. В пихтаче за пасекой тихо хрустели сучья, шуршала трава. Медведица с медвежонком спускались с гор. Они шли ключом почти бесшумно. Их шаги терялись в шлепающих всплесках воды. Иногда только медвежонок наступал на сухую ветку или трескучую дудку дидля. Тогда медведица останавливалась, оглядывалась. Она показывала своему детенышу белоснежный острейший клык. Шерсть на затылке и на шее у нее поднималась. Голова делалась косматой, широколобой. Глаза светились зелеными огоньками. Медвежонок сжимался, втягивал шею в плечи, замирал. Медведица стояла, напряженно обнюхивая невидимые пахучие потоки. Около поскотины она окаменела. В пихтачике открикивал полночь алдодик. Медведица ловким и сильным броском перескочила через изгородь. Медвежонок мышью проскользнул за ней под жердями. В пасеке среди ульев зверь-мать выросла бурым мохнатым пнем. Она схватила передними лапами колодку, сорвала с нее крышку и сунула звerенышу. Медвежонок заворчал, взвизгнул, залез в улей по грудь, вымазался в меду до пяток. Медведица сопела, чавкала.

Луна золотым лучом раздвинула туман. Шерсть зверей заблестела в мелких капельках росы. Мед из разодранных ульев сочился янтарем. Пчелы в меду шипели черными кучками углей. Звери жрали жадно и торопливо с воском и пчелами. Языки, носы и губы у них опухли от укусов. Пчелы защищались яростно.

Андрон вышел из избушки, громко зевнул. В костре, в серой кучке пепла, краснел уголек. Андрон встал на четвереньки и, заметая бородой золу, подул в ослабев-

ший очаг. Дым заползал по земле серыми космами, задрался кверху, повис над пасекой.

Медведица ударила медвежонка по морде, оттолкнула от колодки. Звери медленно полезли в гору. Животы у них были туги и тяжелы. Сырая трава ложилась за ними двумя бороздами, точно по ней протащили две лодки.

Андрон пробормотал скороговоркой молитву и ушел в избушку досыпать последний час ночи.

Звери долго лакали воду в вершине ключа и там же

Андрон встал с солнцем. Неровный огненный ком

залегли. Мать стала облизывать своего детеныша.

выкатывался на зубчатые гребни гор. Снежные поля вершин горели. Ниже ходили туманы. Круглые горы, похожие на юрты, дымились. Андрон ладонью закрыл глаза от солнца, поднял голову.

«Топятся горы, к дождю».

Хозяин пасеки неожиданно насторожился. Несколько раз он шумно носом потянул в себя воздух.

«Шибко медом наносит».

Его глаза забегали по ульям.

«Пчела бунтует».

Сделал несколько шагов и увидел. Три крайних улья были разбиты в щепки. Пчелы старательно собирали с них остатки медвежьего ужина. Около ключа на береговой грязи заметил следы зверя.

«Востропятый зверь, медведуха».

Следы шли в гору двумя полосами.

«С дитенком была. Сакма свежая».

Из подвальчика вылез Безуглый.

— Федорыч, гости у нас медку откушали.

Андрон издали показал Безуглому следы зверей.

— Не одушняй, близко не подходи. Зверишко шибко чуткой. Седни караулить будем.

Андрон, улыбаясь, полез под крышу подвальчика.

— Баушку надо припасти. Примай.

Он подал Безуглому тяжелую кремневую винтовку. Ложа у нее была самодельная, полуторааршинный шестигранный ствол кончался широким раструбом.

Андрон старательно прочистил ружье, продул. Из кожаного мешочка достал самодельную тяжелую пулю (восемь штук выходило из фунта), положил ее на ладонь и стал засыпать порохом. Когда свинцовый орех исчез в кучке сизых песчинок, Андрон заткнул пороховницу. Так он мерял звериные заряды.

— Ронкое у меня уружье, Федорыч.

Охотник поднял перед собой обеими руками дедовскую фузею и, откинув голову назад, любовно оглядел ее от мушки до конца корявой березовой ложи

— Из рук плывет вешшина.

Андрон весь день был весел, работал легко и быстро. Его жгло охотничье нетерпение, и работой он торопил время. Он часто посматривал на небо.

В полдень на другом берегу Талицы выросли четыре всадника. Безуглый спрятался за избушку. Андрон весело и успокаивающе крикнул:

— Свои, сын, старуха моя, сноха, стряпка едут. Чай пить с мяконькими будем, выходи.

Всадники спустились с бома. Лошади напились и осторожно побрели через реку. Вода шипела и кудрявилась белой пеной около их блестящих медных колен. В пасеку они вошли мокрые. Рыжие ноги их и груди потемнели. Лошади тяжело дышали.

Первым ехал Мартемьян. Он напоминал неоперившегося гусенка — узкоплечий, с большим, острым кадыком на длинной, тонкой шее, с рыжим редким пухом на подбородке и на губе. Не слезая с коня, Мартемьян снял войлочную шляпу, поклонился и сказал басом:

— Здорово ночевали, крешшоны?

Андрон взял за повод коня жены и не спеша ответил на приветствие.

— Сами-то здоровы ли, скотина как, домашность?

Лошадей поставили под тесовый навес, разложили курево, расседлали, сняли с них большие кожаные сумины. Пышнозадая жена Андрона, широко расставляя короткие ноги в полосатых половичных чембарах, подволокла сумины к избушке.

— Мяконьких, отец, привезла.

Работница быстро оглядела Безуглого и отвернулась. Безуглому показалось, что у нее едва заметно дрогнули брови и чуть порозовели щеки. Безуглому стало вдруг легко и весело. Он, сам не зная для чего, зашагал к реке, остановился на берегу и стал тыкать палкой в воду. Голубая река гремела галькой на шиверах, закипала молоком на порогах. Сырые пихтачи зубчатыми зелеными стенами берегли обильные воды. Безуглый долго бездумно стоял на берегу с палкой в руках

На пасеке толстая хозяйка собирала обед и спорила с мужем. Андрон говорил строго и властно.

— Мольчи, ково ты понимашь. Власть ноне не крепкая пошла — круть-вертень. Седни алтайцы Карманка Телезеков с Кадыткой придут, мужикам головы рубят — власть. завтри красный Укке Уковец придет, мужиков к стенке ставит — власть, послизавтри наши мужики-бандисты с капитаном Огородовым заявятся нас судить — тоже власть. Вот и привечаю человека. Може, ихняя возьмет и возьмет навдолго.

Увидев Безуглого, Андрон замолчал.

Обедали под навесом около избушки. Стол был накрыт пестрой скатертью. Женщины сидели в цветистых ситцевых сарафанах. Безуглый и работница часто встречались взглядами. Она отводила блестящие глаза в сто-

рону и краснела. Он задерживал руку с полной ложкой и расплескивал суп.

Теплый дождь быстро отшумел на крыше избушки и ушел за реку, закрыл пихтачи прозрачной, зыбкой сеткой. С гор потекли хмельные медовые запахи. В пасеке зажужжали приводные ремни невидимой машины, и сладкий цветочный сок закапал в восковые граненые сосуды. Пчелы гудящим дождем лились на ульи. Андрон без шапки, в длинной белой рубахе стоял среди пасеки с ножом и курящейся гнилушкой в руках. Румяное, круглое лицо его сияло. Он был похож на древнего косматого жреца. Мартемьян громыхал железным баком медогонки. Безбровая белесая сноха несла свекру корытце для меда. Толстая Легестинья Филимоновна одевала сетку. Работница мыла посуду, стучала деревянными чашками.

Сетки потом одели все и с длинными, узкими ножами по-двое расселись около ульев. Работница широкими корытцами таскала мед в большую кадку, в подвал. Безуглый безучастным зрителем сидел на обрубке около костра. Работница быстро проходила мимо, и Безуглый чувствовал каждый раз на своем лице теплые волны воздуха и видел пестрый плеск складок ее сарафана. Он не поднимал глаз, но знал, что она смотрит на него, и ему хотелось, чтобы она чаще проходила мимо.

Сетки закрывали работающих от головы до живота. Оттого у них не было ни плеч, ни шей. Они стояли перел ульями серыми каменными бабами. Перед ними на тоненьких ниточках были привязаны маленькие, качающиеся облачка дыма.

Из рамочных ульев мед вынимал только Андрон и сам носил к медогонке. Проходя мимо Безуглого с белыми медовыми рамами, он бросил ему:

— Вот, Федорыч, мои книги.

Безуглый посмотрел и согласился, что рамы были по-

кожи на толстые книги. На полке около медогонки они стояли ровным рядом. Андрон ткнул пальцем.

— Библио́тика.

Мартемьян стал крутить ручку медогонки. Медогонка загудела, и мед полился из восковых сосудиков в железный бак. Безуглому казалось, что крутом в траве бьются медовые жилки, и мед течет по ним со всех гор прямо в пасеку, в хитроумную машину Андрона.

Ворота поскотины скрипнули. Безуглый обернулся. В пасеку вошел коротконогий, большеголовый человек. Толстые, прямые, колючие волосы, точно пучки засохшей и покрасневшей сосновой хвои, закрывали его щеки, губы и подбородок, торчали из-под шляпы. Неподвижные глаза казались сделанными из зеленых камней. Густые рыжие брови походили на прижатые уши филина. Нос напоминал клюв.

Андрон потемнел.

— Медку ли, чо ли, тебе, Елоп?

Елоп сел за стол, снял войлочную шляпу и пискнул тонким, птичьим голосом:

— Медку.

Он медленно повернул свою тяжелую голову в сторону Безуглого. Левый глаз у него был полузакрыт. Он точно целился. Безуглый чувствовал, что Елоп только повернул в его сторону лицо, а смотрит куда-то мимо. Ел он, не глядя в чашку, ронял мед на стол и себе на рубаху.

Андрон оглядывался и вполголоса говорил Безуглому.

— Сумной он, говорю, Елоп-то, все в себя глядит. Никому никовда ни здравствуй, ни прощай не сказывливат. Боль в ем глубокая.

Елоп на четвереньках припал к ключу, напился и, не взглянув ни на кого, вышел за ворота. На правом боку на поясе у него болтался большой прямой нож в грубых деревянных ножнах.



— От народа он отдалился, сколь годов теперь все один в тайге.

Андрон посмотрел на тропу, по которой ушел Елоп.

— Фарт ему большой на зверя. Никто боле ево не добыват.

Андрон переступил с ноги на ногу, помолчал, покосился на Безуглого.

— Стрелец он у нас первый... Бывало, и я ему не удавал. Он у сына яйцо с головы сшибал из малопульки. Я у Тяночки, Мартемьяна то исть, серебряный гривенник из пальчиков выдергивал тоже пулей... Выпили мы с им однова на масляной неделе, и зашел у нас спор. Я, говорю, признаю тебя за стрельца, но и сам могу не хуже. Он смеяться. Свету я не взвидел, взяла меня зарась. Давай, говорю, распилим сутунок, товда и стрелим. Распилили мы бревно, смешалась у нас кровь у обоих. Я поставил Тяночку с гривенником, схватил винтовку, мушка козлом скачет, руки у меня чужие. Стоит сынок мой, улыбчиво смотрит на меня, ждет. Испугался я, вразумил, видно, восподь, и подумалось мне, что понапрасну из гордости глупой могу я погубить руку помощника своего скорого, взял и слукавил, побочил уружьишко и стрелил мимо.

Андрон замял в рот кусок бороды. Безуглый шагнул к нему.

— Ну?

Борода заскрипела на зубах Андрона.

— Становит и он своего парнишечку, кладет ему на самое темечко кружечек деревянный, нарочи излажен был, на кружечек — яичко и отходит на полста шагов. Парнишечка у ево сметливый был, даром что малой. Понурился он и сурьезно так и жалостно говорит отцу: «Убьешь ты меня, тятя, руки - тебя ослабли». Елоп аж ногой топнул, изматерился и захрустел курком. Жаль мне стало мальчонку несказанно. Хочу схватить Елопа

за стволину, нарушить спор наш неразумный и не могу. Отвернулся я, зубы сожал, мольчу. Он и лупанул ево прямо в лоб. Так парнишечка и пал снопиком.

Безуглый шумно вздохнул, схватился за голову.

— Насилу я Елопа от станового откупил, сколь меду, масла свез, медовухи сколь выпоил.

Безуглый махал руками и быстро уходил к реке.

К вечеру костер на пасеке был потушен, курево убрано, женщин с Мартемьяном затворили в избушке, запретили им разговаривать, кашлять и выходить. Андрон и Безуглый залегли под разлапистым кустом черемухи ждать зверя.

Звери пришли с темнотой, неслышно подкрались к самой поскотине, затаились. Над пасекой тянул теплый ветер. Трава с шелестом покачивалась. Осины хлопали листьями. Медведица фыркнула, ощетинилась, отскочила от изгороди. Медвежонок жался к ее заду. Звери пошли к реке. Их когти зазвенели на береговой гальке. Они обошли пасеку с другой стороны, перелезли через кучу бурелома. Мертвые листья зашумели, треснуло несколько веток. Андрон защекотал ухо Безуглого пушистыми усами, зашептал:

— Ветер вредный, нанесло, учуяла.

Запах меда непреодолимо тянул зверей. Звери были голодны. Медвежонок скулил. Медведица тихо ворчала. Два раза они обошли вокруг пасеки и остановились. Ноздри медведицы трепетали, уши стояли неподвижно. Ветер залег, трава и осины замолчали. С гор поползли охлажденные, сырые слои воздуха. Андрон взял щепоть сухой мелкой травы и подбросил ее около лица Безуглого. Соринки, падая, сместились в сторону.

— Потяга добрая, с гор.

Андрон пощупал мокрую от росы ложу винтовки. Небо было в тучах. Безуглый с трудом различал ближние

белеющие ульи. Он лежал на животе. Его лицо почти касалось земли. Земля, сытая и мягкая, пахла закисшим тестом. Безуглый вдыхал сладкие запахи брожения и свежей сырости. Андрон повел носом.

— Чую, здесь зверишка, псиной от ево наносит.

Безуглый положил голову на землю. Он слушал, как шевелятся и сосут влагу корни травы. Человек был счастлив. Он был жив и здоров.

Резко щелкнул курок кремневки. Безуглый подумал, что кто-то сломал сухую ветку. Он вздрогнул и сразу увидел и большого, черного, горбатого зверя с ульем в лапах, и маленького жрущего звереныша, и красный пучок искр на полке ружья. Порох не вспыхнул. Андрон схватился за пороховницу. Медведица перестала жевать, но не убежала. Безуглый ясно слышал, как чавкал медвежонок. Тучи разошлись. На луне звери были хорошо видны. Они казались больше своего роста.

Андрон снова поднял ружье. Саженный сноп пламени вырвался из раструба кремневки. Земля качнулась под Безуглым. В горах загремело. Огромная пуля не остановила медведицу. Зверь бросил улей, черной кошкой перемегнулся через поскотину, зашеборчал галькой. Несколько широких прыжков его схлюпали на воде. Седая полоса речного тумана разорвалась. Темной бороздой между ее закачавшихся концов лег след зверя. За рекой затрещал бурелом.

Медвежонок ничего не слышал и не видел. Он жрал. Андрон с размаху всадил ему под левую лопатку широкое жало охотничьего ножа. Медвежонок пискнул, перевернулся на спину и замахал пушистыми толстыми лапками.

Высоко над пасекой, на другом берегу Талицы закричали вороны и черными листьями осыпались с большой сухой березы. Береза заскрипела в кривых когтях зверя.

Зверь встал на дыбы и, лохматый, огромный, двуногий, тянулся руками к сучьям, ломал их, скреб, всхлипывал, фыркал. Из носа, изо рта и из простреленных боков у него обильно текла кровь, шерсть, намокая, склеивалась в сосульки. Лапы у зверя задрожали. Он осел на зад, обнял березу, прижался горячей головой к стволу дерева и заревел. Его рев прогрохотал лавиной, ломающей скалы. Зверь поднял окровавленную морду. Круглая, сверкающая льдина в небе рассыпалась мелкими кусками, и куски эти погасли. Зверь рухнул на спину, перевернулся на живот и застыл рыхлой, косматой копной. Из его ноздрей, покачиваясь, потянулись витые струйки пара.

Андрон травою вытер нож, сунул его в ножны. Медвежонок затих, обмяк. Кровь текла из него горячим ручейком. Винтовка в руке Андрона еще дымилась. Дым выгибался из дула едва приметными ленточками.

Андрон прислушался. Талица текла с глухим шумом. Черные зубчатые стены пихтачей на горах были безмолвны. Вершины сияли синеватыми снегами. Под ногами около разломанных ульев беспомощно ползали пчелы. Андрон нагнулся, взял кусок меда, пожевал, пососал, громко выплюнул вощину. Из избы вылезли заспанные женщины. Андрон взглянул на них, стукнул об землю прикладом.

— Говорите — слава богу. Тащите, бабоньки, пива.

Несколько чашек древнего медового напитка опьянили Безуглого. Андрон тоже захмелел. Он обнимал одной рукой Безуглого, другой держал полную чашку медовухи.

— Вот ей, Федорыч, и спасаюсь.

Он щурился, заглядывал собеседнику в глаза.

— Белы ли, красны ли придут у меня коней или скотишко леквизировать, я сейчас с лаской, с поклоном.

В горницу, мол, прошу, господа-товарищи, да как поднесу имя ее ланишной стаканчика три-четыре — и дело с концом. Глядь, и про коней забыли, и лучшее Андрона человека на свете нет. Она, милой, у любого ум вышибат.

Андрон отхлебнул из чашки.

— Мастерица у меня Лепестинья варить ее.

Безуглый поморщился, стряхнул с плеч руку Андрона, встал. Андрон подялся за ним, смутно забеспокоился.

— Ты, милой, прости меня, мужика темного, если я что не ладно молвил. Я ведь тебя, как дите, с реки на руках принес, от бандистов схоронил.

Андрон пьяно качнулся.

— Жисти для тебя не щажу. Ты это запомни.

Он опять обнял Безуглого.

— Живи у меня, Федорыч, поправляйся. Дух-то, чуешь, какой на пасеке, голову обносит, захлебнуться можно медом.

Андрон жадно раздувал ноздри, грудь его поднималась. Он обводил горы медленным, отяжелевшим взглядом.

Небо лежало опрокинутым синим блюдом. Луна прилипла к его дну светлым куском меда, звезды свисали медовыми каплями. Трава, густо закапанная сладкой росой, светилась.

Андрон широко взмахнул руками.

— Всюю вселённую восподь медом оплеснул.

Утром Андрон на коне перебрел реку, поднялся кровавым следом к сухой березе. Зверь лежал холодный и мокрый. От росы шерсть на нем поседела. Конь беспокойно косился. Андрон слез с седла, ткнул ногой медведицу в зубы:

— Не зори мою пасеку.

Он сел зверю на спину, вытащил брусок и нож, зашаркал сталью о камень. Мясо у медведицы было розовое,

жирное. Андрон выпачкался в сале по локти. Ободранный зверь восхитил его своей мраморной мускулатурой.

— Пахать бы на ём. Силищу каку дал восподь дикой твари.

Маленькая баня за пасекой на самом берегу Талицы дымилась с утра. Лепестинья Филимоновна берестяным ковшиком плескала на каменку квас с мятой и с какой-то одной ей известной травкой. Из окна, из двери и изо всех щелей банных вместе с печным жаром вырывались запахи цветов, свежего сена и березовых листьев.

Андрон вернулся к обеду веселый. Белая рубаха на нем была в сальных пятнах и в крови. За седлом болталась темная шкура зверя. В руках он держал туяс с медвежьим салом.

— Федорыч, лекарствие тебе везу.

Безуглый поблагодарил.

В бане они мылись вместе. Горячий пар густо стоял в закопченой избенке от пола до потолка. Андрон щедро лил на каменку душистый квас и веником хлестал Безуглого от плеч до пяток. Безуглый покорно перевертывался с живота на спину, со спины на живот и с одного бока на другой. Под конец он не мог пошевелиться. Тогда Андрон тщательно натер его прозрачным медвежьим салом. Безуглый закрыл глаза и задремал. Он чувствовал, что в теле происходит что-то очень важное и нужное, что, несмотря на усталость, в мышцах скапливаются новые силы.

Земля взметнула горы, как зверь широкие рога. Рога воткнулись в кровяной пузырь солнца, залились кровью. Солнце упало к ногам зверя. Зверь ударил ногами, и по всему небу полетели огненные брызги.

Ночь была звездная и безветреная. В пасеке на осинах чуть дрожали листья. Работница босиком, тихо, не заскрипев дверью, вышла из избушки. Около подвальчика

она наколола ногу, вскрикнула. Безуглый проснулся. Он увидел ее, когда она, уже раздетая, входила в воду. Низ живота у нее был темен и лохмат, как у медведицы. Безуглый опустился на колени, прилег за большим камнем. Мускулы у него напряглись, утратили гибкость. Он с трудом повертывал голову за плавающей женщиной.

Река урчала в каменных вымоинах, ползла полосатой огромной змеей. Пихтачи лежали на горах горбатыми чудищами. Грубая шерсть шевелилась у них на боках и на спинах. Миллионлетья протекли с тех пор, как вымерли земноводные страшилища, но сейчас, как и тогда, самец следил за самкой.

Работница выкупалась и пошла от реки. Безуглый встал навстречу и первый раз назвал ее по имени.

— Анна!

Она вскрикнула, точно снова наколола ногу. Он обнял ее. Она схватилась за ветки пихты. Ее шершавые ладони скользнули по мягкой игольчатой зелени, запачкались клейкими соками дерева. Ноги Анны были упруги и холодны после воды. Она не сопротивлялась.

Тьму веков жила земля. В несчетный раз древний зверь поднял кровавыми рогами солнце и швырнул в небо. Началось утро...

Утро застало Безуглого на палубе. Навстречу пароходу плыли зеленые острова с крикливыми грачиными поселками. Река на восходе была багровой.

Длинноногая цапля часовым стояла на границе озер и болот. Дальше на рыхлой, тучной земле начинался город. Каменный костяк его был сожжен и наполовину разломан. Выгоревшие кварталы казались громадными позвонками ископаемого животного. На берегу меловыми отложениями белели мешки с хлебом. Буксирные пароходы около пристаней возникали белобокими чайками.

«Михаил Лашевич» должен был стоять в Барнауле двенадцать часов. Безуглый пошел в город.

В городе мертвые владели лучшим парком. В праздник на кладбище поэтому — нашествие нарядных толп. В воротах ряды торгующих домашним квасом, орехами, конфетами. Над могилами люди грызли и жевали с беличьим проворством.

Безуглый отыскал белую мраморную плиту, на которой было высечено:

Федор Безуглый красный командир 1900—1921

Он сел на холодный камень. Кладбище было на высоком холме. Внизу, на зеленой подстилке лугов, лежали кривые зеркала озер. Утки летали над ними стайками и парами. Селезни, вытянув шеи, гонялись за самками. Безуглый думал о брате. Веснами они охотились вместе. Теперь труп брата тлел в земле...

Федор погиб в горах накануне последних боев с бандитами.

Остатки отрядов Огородова и Телезекова засели в Кобанде. Взять Кобанду без артиллерии было нельзя. Деревня жалась в небольшой долине за высокими стенами хребтов. С востока и с запада ее бока были голы и круты. С юга горы стояли над ней обмерзшим поднятым воротником шубы. Они были белы от снега. В деревню вела только узкая тропа с севера. Один пулемет делал тропу совершенно недоступной. Артиллерии у Безуглого не было.

Безуглый разделил свой отряд. С меньшей частью остался Федор. Он и с небольшими силами мог удержи-

вать противника, потому что из Кобанды выбраться было так же трудно, как и попасть в нее. Своих всадников Иван отвел на двадцать верст в сторону, на заброшенный рудник. Они взяли там несколько пудов веревок, кайлы и лопаты. Безуглый решил брать Кобанду с юга. Его расчеты были просты. Он знал, что бандиты считали ледяной воротник вполне надежной защитой для своего затылка. Отряд полез к врагу на ворот.

Федор ослушался брата. Ночью он с тремя красноармейцами пополз к Кобанде. Он хотел заколоть заставу и напасть на спящих бандитов, не дожидаясь прихода Ивана.

Тучи, тяжелые и черные с вечера, к полночи поредели, посветлели, стали кучами сваливаться за хребты. Луна вражеским прожектором загорелась над горами. Красноармейцы замерли на четвереньках. Они были похожи на медведей. Бандиты заметили их, подняли винтовки. По ущельям пронеслись гулы выстрелов. Красноармейцы были убиты. Федор ранен в левое плечо и в бок.

Сознание вернулось к Федору на рассвете. Он лежал на нарах в сельской каталажке. В разбитом решетчатом оконце выл ветер. Федору было холодно. Он застонал, встал с нар, подошел к окну, положил горячую голову на подоконник. Над Кобандой стыли розовые ледяные пустыни.

Отряд Ивана лез медленно. Люди и лошади падали на обледенелых склонах, вязли в снегу. Животные дымились, шерсть на них мокла, покрывалась белой пеной. Красноармейцы широко раскрывали рты, утирали рукавами потные лица. Отряд взбирался выше, выше уходила последняя ледяная вершина. Снег становился толще, крепче. Люди бросали лопаты, ложились. Вперед пускали лошадей. Лошади грудью рвали снежные пласты. Люди поднимались и брели за ними.

Федора повели на допрос. На улице около домов кучками стояли бандиты и местные крестьяне. На пленного показывали пальцами, смеялись, целились в него из винтовок

Допрашивал Огородов — низколобый, черноусый человек в зеленой гимнастерке. Федор отказался отвечать. Огородов сказал пленному, что ему не дадут ни капли воды, ни крошки хлеба и что, если он будет упорствовать, то у него снимут повязки. Бандит предложил красному командиру подумать и сделать выбор. Его снова увели в каталажку.

Федор почти весь день простоял у окна. Голова у него была тяжелая. Под ней расслабленно гнулась спина и дрожали ноги.

Горы голубели ледяными полями. Под вечер на их обрывистых скатах запрыгали быстрые тени облаков. Раненому показалось, что он видит отряд Ивана, слышит стук лопат, топот и ржанье лошадей, крики красноармейцев. Он упал на нары.

В вершинах гор рождались льды и воды.

Отряд брел водой, врубался в лед, в камень. На узких и скользких бомах работали, обвязавшись веревками. Никто не спал. Шли день и ночь. Ночами льды были сини. На них дрожали огненные звезды. Длинные снежные полосы были похожи на млечные пути. Они обрывались в темные пропасти, упирались в острореберные черные скалы. Отряд червем переползал через каменные гребни, ущелья, через снега, льды и воды.

Федор метался на нарах, бредил. Он видел, что Иван взбирался на горы. Горы колебались, росли. Лошади валились с утесов, тащили за собой людей. Скалы текли кровью. Иван долбил громадной кайлой. Камни сыпались огненными кусками. Иван учащал удары, поднимался. На голой последней вершине он остался один. Федор бро-

сился к нему на помощь и упал на пол. Пленный проснулся. Над ним стоял бандит с дробовиком в руках и толкал его в бок тяжелым сапогом.

При свете жировика голова Огородова качалась на стене расплывчатой, неверной тенью. Разговаривать Федор опять отказался. Его вывели за деревню, поставили на краю ущелья. Бандиты завозились с дробовиками. Федор посмотрел на пустынные горы, повернулся и легко прыгнул в пропасть. Над ним прогремел одинокий, запоздалый выстрел. Горящий пыж падающей звездой проводил его до дна.

В темноте отряд протискивался тесной щелью. Люди лезли ощупью. Безуглый слышал скрежет железа, шум обрушиваемых камней, шорох снежных комьев, храп лошадей и ругань красноармейцев, но никого не видел. Он остановился в полной нерешительности.

Отряду и командиру нужен был отдых. Люди и лошади шатались. Ночь вторых суток подходила к рассвету.

Красноармейцы вытащили из сумок сухари. Лошадям дали овса. Безуглый лег на спину, вытянул ноги, раскинул руки. В нем точно развязался тугой узел. Он мгновенно заснул. Бойцы дремали сидя, засыпали, уронив головы на винтовки, храпели на льду около жующих лошадей.

Безуглого разбудил его помощник — безусый, голубоглазый Обухов. Он стоял с биноклем и смотрел вниз. Безуглый встал с трудом. Красноармейцы позевывали, потягивались. У всех свинец усталости серым румянцем проступал на щеках.

Склон был крут, как стена. Спускаться пришлось на веревках. Лошадям стали связывать ноги. Лошади бились большими темными рыбами в сетях. Вороной жеребец Обухова разорвал путы. Веревки выскользнули из рук красноармейцев. Двое потеряли равновесие, сорвались

вместе с конем. Они исчезли в глубокой расщелине, оставив на камнях красные пятна. Безуглый подполз к краю щели. Из каменных глубин тянуло сыростью и холодом. Дна он не увидел. У него закружилась голова.

Над отрядом с клекотом летала большая рыжая птица. Красноармеец Разбежкин вскинул винтовку.

— Красноармейского мяса захотел, гад!

Орел кувыркнулся и, роняя перья, с шумом рухнул к ногам стрелка. Выстрел тяжелым молотом упал на льды. Большое голубое поле затрещало и, выворачивая камни, понеслось вниз. На нем, как на ковре, летели красноармейцы и лошади. Безуглый не успел сосчитать даже людей. Грохот их гибели затих быстро. Снизу к вершине поднялась мелкая снежная пыль. Она тронула горячие щеки бойцов холодными ладонями их мертвых товарищей. Безуглый бросился к Разбежкину. Его плеть поднялась над головой красноармейца кривой черной саблей. Разбежкин сел на снег. Кровь из расхлыснутого лба залепила ему глаза. Он не увидел бледного лица командира. Он только услышал:

— Болван!

Безуглый выстроил отряд. У многих на щеках и на носах мороз выжег свои багровые клейма. Бойцов нехватало на четверть. Лошади погибли наполовину. Безуглый спешил здоровых, посадил в седла слабых и обмороженных.

Снега обрушивались под ногами, как минные поля. Белая гвардия вершин колола глаза нестерпимым блеском ледяных штыков. Бойцы сковыривали с ресниц сосульки слез. Лошади по-собачьи садились на зады, визгливо ржали. Люди ласково гладили их мускулистые шеи, тянули за повода. Отряд канатоходцев двигался под темным куполом огромного цирка. На головы им спускались нити елочной звездной канители. Белая гвардия стояла

кругом, как галерка. Она гоготом и гулом отмечала каждое падение — бойца, коня или обоих вместе.

Ночью четвертых суток Безуглый почувствовал пустоту за спиной, оглянулся. Отряд остановился самовольно. Командир круто повернул коня. В спутанных рядах вертелся Разбежкин, визгливо выкрикивал:

— Пропадем! Заворачивай оглобли! Кому нужно наше геройство?

В руке у Безуглого кривился синий наган.

— Отряд, вперед!

Из рядов вышли только два человека — Обухов и Помольцев. Остальные не шевелились.

— Трусы и предатели могут разбегаться по домам! .. Им только придется немного промаршировать мимо дула моего револьвера. Стреляю я не плохо, поэтому предлагаю для вашего удобства сначала убить меня. Стреляйте, гады, своего командира!

Головы красноармейцев опустились скошенной травой. Один курносый Разбежкин смотрел Безуглому в глаза.

— Ну, кто из вас самый храбрый трус, стреляй!

Безуглый длинно и злобно выругался.

— Разбежкин, десять шагов вперед!

Слова командира, как багор погонщика, зацепили красноармейца за ухо, выдернули его из рядов.

— Стой!

Разбежкин видел черный крючок взведенного курка и не мог остановить своих заплетавшихся ног. Его остановил выстрел. Он взмахнул руками и упал лицом вниз, точно споткнулся о камень.

— Я буду расстреливать каждого десятого. Раз! Два! ..

Револьвер поднялся над отрядом и повис в руке командира, как кнут пастуха. До десяти он не досчитал.

Отряд пошел. Он опустил руку. Отряд снова остановился. Под ногами лежала голая челюсть ущелья.

— Взводный первого взвода, вперед!

Взводный закрыл обеими руками глаза. Безуглый хрустнул курком. Взводный шагнул в каменные зубы. Отряд спустился по его следам.

На дне отряд в первый раз за весь переход разложил костры. Четырех лошадей закололи на шашлык. Мясо их было красно, как огонь. Бойцы вооружились шомполами. Обгорелое мясо жгло пальцы. Бойцы бросали его в снег, припадали к нему жадными губами. Жир и кровь чавкали в их глотках. Желудки сладостно растягивались. Хмель сытости качал головы. Бойцы с хохотом валились у огней. Сон, как смерть, раскладывал их на снегу.

На последнюю вершину въехали на лошадях. Громадные тени всадников легли на редеющие тучи. Кобанду было хорошо видно. Ее избы казались не более ульев. Над ними дымками снарядных разрывов клубились мелкие белые облака. В деревне горели какие-то постройки. Можно было подумать, что Кобанду обстреляла и подожгла неприятельская артиллерия. Бандиты беспечно пили самогон. Они не видели, что высоко над ними тучи несли тени их врагов.

Отряд спустился к поскотине Кобанды. Шальная весенняя метель путала гривы лошадей, трепала полы шинелей. Всадники подняли воротники, плотнее надвинули шлемы. Лошади пошли крупной рысью. У ворот в лицо отряду засвистел снег, смешанный с пулями. Застава отстреливалась и убегала. Всадники скакали за ней, топтали раненых и убитых.

Огородов выскочил на крыльцо. Пуля свалила его у порога. Он успел только увидеть белый клинок шашки в руке Обухова.

Обухов отрубил ему голову.

На выстрелы вошел в деревню и отряд Федора. Пленных заперли в кержацкой молельне. Красноармейцы столпились около головы Огородова. Их растолкал маленький Помольцев. Он поднял голову, завернул в рваные портянки, спрятал ее в свои сумины. Помольцев поплевал на руки, обтер их о штаны.

— Наши так не поверят, им пощупать надо. По всему районy буду возить.

Он поставил ногу в стремя. Огненный клинушек его бороды мелькнул над черной гривой коня.

Федора нашли вечером. Иван опустился около брата на колени, взял его за руку. Рука не гнулась и была холодна...

Иван встал на ноги. Мраморная могильная плита была холодна, как рука мертвого брата. Ему показалось, что брат лежит не в земле, а рядом, как тогда в ущелье. Он вспомнил длинное, изломанное тело Федора, его лицо — чужое, синее, в кровоподтеках, но с таким знакомым мягким русым пушком на верхней губе. Иван провел рукой по лицу, точно хотел убедиться, что сам он еще жив. Братья походили друг на друга, как близнецы, хотя Иван был старше, более круглолиц, шире в плечах и на голову выше Федора.

Иван понимал, что считать Федора живым нелепо, и вместе с тем думал притти на пароход, разыскать брата, сесть с ним рядом и сказать ему:

— Федя, я сейчас был на твоей могиле.

Солнце обильно полило полноводнаю Обь жиром. В густой воде медленно плыли тяжелые плоты. Пароход причалил к последней пристани. Баржи, берег, склады в Бийске были завалены хлебом так же, как и в Барнауле.

Безуглый нанял в городе лошадей. На переправе через Бию он неожиданно встретился с Петром Парамоновым.

В гражданскую войну они служили в одном полку. Парамонов заставил Безуглого заехать к нему на текстильную фабрику. Безуглый пробыл у него остаток дня и ночь. Лег он перед рассветом. В комнате, как в каюте, дрожал пол, дребезжали стекла. На сотни сажен кругом земля колебалась, как вода у бортов парохода.

Днем Безуглый обошел все фабричные корпуса. Красные вымпелы над станками ударников шелестели, как боевые знамена в походе. Безуглый думал о боях в селе. Армии собственников отступали. Отряды победителей закладывали свои опорные крепости — фабрики зерна, масла, мяса.

Безуглый не смог уснуть. В город всю ночь двигались обозы с хлебом. Он слышал ржанье лошадей, тяжелый скрип телег, голоса возниц и удары бичей. Он чувствовал близость полей войны.

Утро зазвенело бубенцами. Ямщик кнутовищем постучал в окно. Безуглый свалил на пол стул с одеждой, уронил дневник. Из тетради выпал грубый синий конверт, склеенный тестом. Безуглый поднял письмо и перечитал его в двадцатый раз. Он сам расставил в нем знаки препинания.

«Дорогой товарищ Иван Федорович, посланные ваши деньги — пятьдесят рублей — и письмо с запросами получила и двадцать копеек отдала кольцевику за доставку. Паров припасла на полдесятины, пахать у нас некому, мужик в доме один, и тому только седьмой годок минул. Приезжайте скорея потому, как признаем вас за мужа и за отца и кланяемся, и еще кланяется сын ваш Никита. Известные вам Карманка Телезеков и Кадытка, амниссированные бандиты, живут в нашем селе Белые Ключи, рядом с камунистом Помольцевым. Карманка служит по пушнине в охоткапирации. Андрон Морев замазал медом глаза всему сельсовету и



живет с песнями. Брат ихний Сюта попал на зуб уполномоченному Обухову и через то сидит в домзаке по сто седьмой статье за хлебные излишки. В ячейке у нас больше молодняк, а баб только мы с учительшей. Еще в ячейку у нас заступил боевой товарищ амурских лесов партизан и первый тигрятник Петр Рукобилов, назначенный объещиком. В сельсовете в придсидателях ходит Левонтий Желаев. Работник он тихой и начальник не страшный. Мужики поят ево медовухой, и он делает, што им нада, и укрывает объекты. Черного зверя у нас сила, а ружьев добрых ни у кого нету. Летошний год сколь пасек позорили, в совхозном маральнике задавили маралуху и одного рогача, сколь коней у хрестьян испредрали. Охотники дожидают вашу винтовку. Мы, сельактив, просим вас протереть кое-кому глаза и повытряхать некоторых елементов, не питательных для советской власти. Больше писать нечего, как ждем вас лично

Писала ваша жена, активистка *Анна Бурнашева*».

Безуглый бросил письмо на подушку и босой, в одном белье, заплясал около кровати.

— Едем! Едем! Едем!

В дверях смеялся хозяин. Гость подбежал к нему, закружился с ним по комнате. Хозяин вырвался, тяжело сел на стул. Его круглое, бритое лицо покраснело. Широкая лысина покрылась мелкими капельками пота. Он был толст.

Гость, прыгая на одной ноге, стал надевать штаны. На голове у него закачался длинный русый вихор

За чаем Парамонов спрятался в газету, спросил:

— Ну, а как ты относишься к соленым огурцам?

Безуглый трубой раскрыл рот, загремел:

— Хо! Хо! Хо!

Парамонов выкрикнул, давясь смехом:

— Жрешь?

— Жру.

Товарищи копытили каблуками пол, ржали.

В полку часто смеялись над непомерной любовью Безуглого к соленым огурцам. Он в каждой деревне тотчас после боя, входя в избу, начинал разговор с неизменного вопроса:

— А соленых огурчиков вы нам не дадите, хозяюшка?

Парамонов поставил на стол тарелку с огурцами. Безуглый схватил любимый свой овощ прямо руками и сочно захрумкал.

За городом Безуглый оглянулся назад. Город лежал кочковатый и серый, как весеннее ледяное поле. Над ним содрогались и скрежетали высокие ледоколы — фабрика и завод. Безуглый даже сказал вслух:

— Мы строим ледоколы.

Ямщик через плечо одним глазом посмотрел на пассажира.

— Закурить у вас не будет, гражданин?

Безуглый не курил. Ямщик вздохнул, вынул кисет, стал крутить собачью ножку. Лошади рвали у него из рук вожжи, гремели бубенцами.

Снег с полей сошел недавно. Поля, сырые и темные, в бурых полосах прошлогодних жнив, напоминали шкуру линяющего зверя. Около Катуни остановились, напоили лошадей. На другом берегу стояли обозы с хлебом. Крестьяне с руганью и криком заводили на паром тяжелые телеги. Река набухала толстой голубой жилой.

Безуглый открывал глаза при проезде через деревни — будил лай собак, и на деревянных мостах — громко стучали копыта лошадей. Весь день он ехал в полусне.

Вечером ямщик распряг лошадей около поскотины большого села. Безуглый спал. Ямщик разложил костер, повесил над огнем закопченый чайник.

В тайге было темно и сыро. Рядом с дорогой в буре-

ломе трещал медведь. Лошади лезли из оглобель, храпели. Над дугой летали серые круглоголовые птицы.

Безуглый зябко повел плечами, положил к себе на колени винтовку.

Деревья отошли от дороги. Под ноги лошадям белесым пятном подвалилась небольшая поляна. На дорогу упал теплый клуб дыма. Залаяли собаки. С дальнего края поляны встал темный конус юрты. Над дымовым отверстием метелью рассыпались искры.

Безуглый вошел в юрту. Полуголые алтайцы сидели около пылающего очага. В круглом чугунном котле кипел чай. Старуха в рыжих овчинных штанах возилась с берестяной зыбкой. Молодая женщина курила трубку, кормила грудью ребенка. У стен стояли кожаные мешки с кислым молоком, кучей валялись шубы. Над головами сушилась шкура небольшого зверя.

Старуха взяла у женщины ребенка, положила его в зыбку, зажгла пучок сухого вереска.

Тридцатиголовая огонь-мать,
сорокаголовая девица-мать,
варящая все сырое,
оттаивающая все мерзлое,
спустись, окружи и будь отцом,
спустись, покрой и будь матерью...

Безуглый слушал заклинания старухи, смотрел на мускулистые тела, на широкоскулые лица, меднокрасные от огня, и вдруг увидел, что он сидит в кругу своих далеких предков, что столетия стремительно протекли назад.

Да поседеешь ты
и станешь беззубым стариком...
Чтобы расти тебе со следующим братом
на сотни лет.
Да ездить тебе на скакуне...

Безуглый поднял голову. Сквозь дым на черном небе

были видны крупные золотые звезды. Он подумал, что тысячу лет назад небо было так же черно и звездно и так же сидели вокруг огня полуголые люди.

Передние полы у тебя пусть ребенок топчет.
Задние полы пусть скот топчет.
Пусть детей у тебя будет стольок,
сколько у тальника почек...

Старуха отдала ребенка матери, села к огню, набила большую трубку. Вошел ямщик, заговорил с хозяином по-алтайски. Хозяин во время разговора несколько раз показывал на Безуглого пальцем. Ямщик сказал Безуглому:

— Сын у него на курсах в Ленинграде.

Хозяин на четвереньках полез в дальний угол. Он вытащил из сундука номер ленинградской «Правды» и показал на третьей странице портрет своего сына-студента. Газета была так истрепана, истерта и засалена, что Безуглый с трудом разобрал только подпись под фотографией — Езуй Тантыбаров. Алтаец стукнул себя кулаком по груди.

— Наша сын карточка. Наша сын Ленинград.

За самоваром сидела толстая краснощекая теща ямщика. Безуглый пыл последний стакан и смотрел в окно. На дворе ямщик бегал около ходка с помазком и колесной мазью.

К воротам подошла высокая широкоплечая женщина в черной кожаной куртке и красном платочке. Ее сухое скуластое лицо показалось Безуглому знакомым. Хозяйка торопливо вытерла чайным полотенцем потный нос, уставилась на приезжего.

— Секретарьша, партейная она у нас, батюшка.

Женщина вошла в комнату. Безуглый вспомнил, что видел ее в двадцать первом году.

— Товарищ Сухорослова?

Он протянул руку. Муж Сухорословой был в отряде Федора и погиб с ним под Кобандой.

У Безуглого застыл недопитый стакан. Ямщик несколько раз входил в комнату, топтался в дверях, кашлял. Безуглый забыл о запряженных лошадях. Он слушал.

— Мужиков в нашем аймаке головой не было, всех поприбили — кого белые, кого наши, остались одни старики да ребятишки. Объявилось у нас безмужичье, а нам, бабам, такая планета пришла, что некоторые сами на себя руки подымали. Ночью тебе всяк хозяин. Лишь бы кто с гор спустился. Кто в борозду попал, тот и запахал, и засеял. А днем поминай, как звали. Меня два раз насильничать принимались — не далась.

Сухорослова поправила платок на голове. Брови у нее сдвинулись.

— Поставили мне на квартиру агента, по продовольствию ездил. Ночью завожу я квашню, постоялец в горнице лежит, и забегает в избу секретаришка из сельсовета. Лядащий такой был мужичонка, но на баб лютой, шибко жеребцевал по селу, и говорит он агенту:

— Вы пошто без бабы спите? Я уж от третьей иду.

— А по то, говорю ему, что бабу спросить надо, хотит она спать со всяким или нет. — Он ощерился на меня нехорошо так и опять за свое.

— Спрашивать вас еще. Солдатка — имущество бесхозное, а власть у нас знаешь какая, значит, каждый трудящийся тебе хозяин

— А я, говорю, разве не тружусь? Изматерился он и ушел. Агент-то и распалился с его слов глупых и полез ко мне. Всю юбку испредрал. Насилу мешалкой отбилась, по переносью угодила ладно, да к соседке. Так дома и не ночевала. Вся квашня у меня на пол вылезла.

Сухорослова достала коробку с папиросами, закурила. Хозяйка зевнула, перекрестила рот.

— Война утишилась, насильство уничтожили, начался обман. Заезжали к нам в неурожайный год из степи за хлебом, ну и понаглядели, что нет у нас мужиков. Поехали мужики из степи в камень, в горы то есть, жениться. Женится мужик как полагается, в церкви, поживет полгода, нагрузит несколько возов хлеба, запряжет самых первых коней и назад к старой бабе. Многих так у нас женщин пообидели.

Она выбросила в окно окурок, помолчала.

— Рассказывать о себе особенно нечего. Сходилась я с одним тут, забрюхатела. Он бить стал. От побоев я скинула, а мужика прогнала. Живу одна, пустая.

Сухорослова быстро вытащила из кармана куртки носовой платок, зажала его в руке.

— В селе у нас теперь партия, комсомол, пионеры. .

Хозяйка остановилась с самоваром посреди комнаты.

— Все, батюшка, есть: и ячейка, и комсомолы, и барабанщики, всякого сраму много.

Безутлый рукой придавил на губах улыбку. Ямщик вышел из-за тещи, уставился в пол.

— Гражданин. . .

Сухорослова встала. Безутлый надел фуражку.

На кремнистой дороге подковы искрились и звенели. Лошади тянули с натугой. Подъемы и спуски стали круче. Безутлый шел пешком. Иногда он садился на большой камень или пенек. Ходок надолго исчезал в глубоких ущельях. Безутлый ждал, пока его догонит ямщик, и снова уходил вперед.

В теплых долинах начинался посев. Безутлый увидел внизу черные борозды пашен. Навстречу громыхали телеги с плугами. Бородатые, тяжелые мужики в войлочных шляпах и толстые, ширококостные бабы в пестрых сарафанах ехали верхом, часто по две на одной лошади.

Земляная забота темной водой стояла у них в глазах. Алтайцы в засаленных халатах, с трубками в зубах, тряслись неторопливой, беспечной трухней на низкорослых своих кониках. Алтайки блестели бусами, улыбками, бренчали уздечками и стременами. Они скакали с песнями, как легкие голубые птицы. Безуглый весело снимал перед ними фуражку.

Он остановился, посмотрел кругом. Синие горы с снежными вершинами расселись по всему горизонту толстыми алтайскими баями в белых бараньих островерхих шапках. Он раскинул руки, набрал полную грудь воздуха и закричал:

— Гоп-гоп-гоп-гооп!

Благостный голубой Алтай раскрывал перед ним свои широкие, твердые ладони.

Небольшой холм около дороги шуршал серым быльем прошлогоднего бурьяна. Безуглый узнал братскую могилу красноармейцев своего отряда. В двадцать первом году он стоял здесь с непокрытой головой и звал бойцов отомстить за убитых. На ближнем перевале стрекотали пулеметы, и высоко над долиной свистели свинцовые птички.

Безуглый неожиданно услышал знакомую трескотню перестрелки. Он поднял голову. Губы у него растянула радостная улыбка. В долину в пыли и дыме сползала черная колонна тракторов.

Ямщик догнал Безуглого с оседланными лошадьми. Колесная дорога кончилась.

Лошадь беспокойно перебирала ногами, пятилась назад, сворачивала в сторону. Безуглый одной рукой тянул повод, другой держал бинокль. Перед глазами качались дома с высокими крышами, с резными раскрашенными наличниками и воротами. Улицы сходились и расходились косыми углами. Люди двигались скачками. Безуглый слез

с коня, отдал повод ямщику. Бинокль дрожал попрежнему. Безуглый махнул рукой, сунул его в футляр.

В село приехали по темному. Безуглый без труда нашел дом Анны, быстро взбежал на крыльцо, широко распахнул дверь. Анна цедила молоко. Безуглый увидел, что она покраснела и брови у нее дрогнули, как в первую их встречу на пасеке. Анна перелила кринку. Белые теплые струйки брызнули на стол, на пол, на босые ноги хозяйки и на пыльные сапоги Безуглого. Женщина отдернула подойник и опрокинула глиняную пузатую посудину. Оба бросились ее ловить, больно стукнулись лбами. Кринка кувыркнулась мимо четырех растопыренных рук, рассыпалась на мелкие черепки. Молоко обелило весь пол. У Безуглого и у Анны перед глазами летали огненные мухи, окна и печь лезли на потолок. Он вообразил, что Анна падает. Он схватил ее за плечи. Они оба дрожали от смеха и никак не могли поцеловаться. Безуглый натыкался губами на ее нос и подбородок.

За ужином Безуглый смотрел на Анну и не узнавал. Он помнил ее или, вернее, выдумывал совсем другой. Ему представлялось, что нос у нее был прямее, тоньше, глаза темнее и больше. Губы только остались прежними — яркие, полные. Анна широко раскрывала рот. Ложку тщательно облизывала. Кожа на руках у нее была в мелких темных трещинах.

Анна знала Безуглого бородатым, в зеленой военной форме. Теперь он сидел перед ней бритый, в белой чесучевой рубашке. Может быть, поэтому оба они не находили нужных слов.

Анна убрала со стола.

— Постель вам, Иван Федорович, постлана в горнице.

Анна прятала глаза. Безуглый смотрел на нее не отрываясь. Она побледнела, стремительно подошла к нему, взяла за голову. Ее руки сплелись у него на шее.

— Беленький ты мой!

Безуглый почувствовал, что под ним зыбко качнулись половицы. Лампа огненной дугой метнулась от стола к двери и потухла. Ветер захлопал окнами. Лунные зайчики заиграли на стеклах.

Над селом качался золотой ковш Большой Медведицы, расплескивал по небу искристое молоко. Молоко стыло длинными белыми дорогами.

В минуты тишины Безуглый слышал, как шумит у Анны кровь и колотится сердце. Сын сопел на полатях. За печкой шелестели тараканы. На стене тикали ходики. Ветерок шевелил в переднем углу бумажные цветы и портреты вождей

Безуглый лежал на полу, смотрел через окно на небо. Голова у него была легкая, пустая, в ушах звенело. Он убеждал себя, что наверное звонят в кержацком скиту на Девичьем плесе, или кто-нибудь перекладывает в горах серебряные камни, или, может быть, золотой ковш задевает за звезды.

Безуглого разбудил стук в окно и окрик исполнителя.

— Антоновна, на сборню!

Он медленно вспомнил, что Анну по отчеству зовут Антоновной.

С крыльца прозвенел детский голос.

— Матери нету. Отес дома.

— Отец?..

Безуглый не расслышал всех слов удивленного исполнителя. Ребенок говорил громко, очень серьезно, даже с долей важности.

— Отес у мсня — птиса большая...

Безуглый кое-как оделся и вышел. Исполнитель кричал под окном у соседей. На крыльце сидел беловолосый

мальчик, большим ножом резал палку. Несколько мгновений Безуглый молчал. Он увидел себя семилетним ребенком.

— Здравствуй, птиса маленькая.

Безуглый взял ребенка на руки, поцеловал. Мальчик не улыбнулся.

— Меня Никитой кличут.

Отец, смеясь, поставил сына на землю. Сын вытер рукавом губы и снова принялся за палочку.

— Видишь, бичик лажу.

Никита готовился к бороньбе. Мать еще зимой сказала ему, что весной он будет борноволоком.

Безуглый вернулся в дом и вышел оттуда с букварем и коробкой конфет в руках. Никита уронил нож и палочку. Цепкой белкой он вскарабкался на крышу, вложил два пальца в рот. Безуглый услышал резкий свист и радостные крики сына.

— Семша, Митьша, Петьша, отес конфетки привес, картинки. . .

Никита поскользнулся, уцепился свободной рукой за трубу и закричал во все горло.

— Многа-а-а!

Безуглого окликнул Помольцев.

— Здорово, командер!

Он подошел к крыльцу, усмехаясь, дергая огненный кустик своей бороденки.

— Ну и пластался ты с бабой вечор, прямо мидмедь с мидмедухой.

Безуглый отвел глаза в сторону. Щеки у него побелели. Гневная дрожь тронула ноздри и губы.

— Я иду и думаю, с чего бы это у Антоновны изба колышется.

Помольцев не договорил. Он увидел лицо Безуглого. Они сели рядом. Помольцев переменил разговор.

— Слухом пользовался, что на работу к нам и что, пока в отпуску, хотишь на зверя сходить?

Охотники долго говорили о медведях. По селу второй раз пробежал исполнитель. Теперь он не подходил к окнам, а кричал с средины улицы:

— Гражданы, на собранию!

На собрании к Безутлому подсел пасечник Андрона Морева старик-бобыль Лопатин.

— Рядом с Антоновной живу, худо не могу сказать. Старый мужик сколь разов лез к ей, в потребность хотел входить. Не допустила. У меня, говорит, новый есть, коммунист бесподдельный.

Буро-зеленые волосы старика топорщились, как заплесневевшее сено на ветру. Веки у него были вывернутые, красные, как надбровные дуги у тетерева, глаза слезились. Он тер их толстыми, корявыми пальцами.

— Доброй бабой, Федорыч, дорожиться надо. Баба — второй бог: захочет — веку прибавит, захочет — убавит.

Помольцев подтвердил:

— Женщина правильная. По первости мы, правда, смеялись над ей. Шибко она круто бралась за грамоту. С книжкой и ела и спала. Однако нынче голой рукой ее не достанешь.

Безуглый взглянул на Анну. Она сидела недалеко, почти спиной к нему. Он увидел ее белую кофточку, красный платок и темный загар щеки. Безуглый вспомнил Сухорослову. Анне нехватало только ее кожаной куртки.

Анна прошла свой путь вверх без него. Ее жизнь вставала перед ним сухой схемой — батрачка, роман с красным командиром, вступление в партию. Красный платочек, или Анна-делегатка. Он давно читал о ней в женотдельских журналах. Она же, странное дело, — его жена и мать Никиты.

Сзади подкрался Андрон, схватил Безуглого за руки.

Борода его лисьим хвостом завертелась на плече коммуниста.

— Иван Федорыч, дружок!

Андрон поднял Безуглого на ноги, крутил его перед собранием, громко кричал:

— Дружок! Радость ты наша небесная!

Спереди набежал Фис Канатич Чащегоров. Он наступал на Безуглого своим тугим брюхом, жирной блинообразной безволосой рожей, ловил его за пальцы.

— Да, слава тебе, всевышнему! Жив, здоров, приехал, судья ты наш справедливый!

Безуглому руки Чащегорова показались быстрыми холодными змеями. Он молчал, темнел и вырывался.

Секретарь сельсовета Гаврила Подопригора, тучный рыжий человек в черной рубахе без пояса, постучал карандашом по столу, попросил выбрать председателя собрания. Несколько десятков людей в один голос назвали Безуглого. Крестьяне его помнили по двадцать первому году. Его отряд был самым дисциплинированным в то время.

Собрание обсуждало предложение аймисполкома об увеличении посевной площади. Первым говорил председатель сельсовета Леонтий Леонтьевич Желаев. Его настоящую фамилию в селе забыли. Он после царской военной службы при встречах со знакомыми пучил глаза и орал: «Здравия желаю!» Он с тех пор и стал Желаевым. Безуглому не понравилось его лицо, серое, рябое, с красным носом и бесцветной щетиной на верхней губе. Говорил он, высоко задирая голову. На шее у него голубиным яйцом перекатывался острый кадык. Жилистая рука теребила низкий ворот холщевой рубахи.

— Свободы мы диствительно такой добились, чтобы никого не бояться, на налог не обижены, но хлебозаготовки

для крестьянина есть метла. Власть у нас пишется крестьянская и рабочая, но почему же добытчики одне крестьяне? В городу работают восемь часов, а мы от темна до темна. Достижения высших органов мы признаем, но против прежнего многого не видим. Опеть же дороговизня. Отчего не надбавить площадь? Крестьянину вовсе руки, ноги отшиби, он на брюхе пашню выползат.

Собрание пестрым зверем, многоголовым, многобородым, зашевелилось, зафыркало. Безуглый перевернул несколько страниц в своем дневнике, записал:

«Поставить на первом собрании ячейки вопрос о перевыборе сельсовета».

Желаев покосился на карандаш Безуглого.

— Обществом принимать твердые задания мы опасимся. Кажный за себя думает, а о другом как скажешь. Плантов у нас никаких быть не может. Мы — не земнамеры. Пашня нонче не шибко манит, таиться нечего, но в виду поступившей просьбы аймисполкома, я думаю, кажный посеет по силе возможности, потому мы для власти завсегда с полным жаланием...

Из дальних рядов кто-то крикнул:

— Сколь сила возьмет!

Собрание молча подняло свои головы на старика Бидарева. Он стал к столу на место Желаева. Большая борода у него белой пеной свисала на грудь. Намасленная голова отливала на солнце серебром. На нем был длиннополый, узкорукавный черный кафтан. Бидарев обеими руками опирался на высокий посох. Безуглый посмотрел на розового, синеглазого старика и подумал, что его портрет сошел бы за икону.

— Сеял я, никогда не ленился и опять посею. Пятьдесят годов писал я вельможам и простым людям, всех звал пахать и ни одной черты ни от кого не получал в ответ, ровно в мертвые руки подавал, в глухие уши говорил.

Двадцать пять годов страдал я при царе в ссылке за то, что нашел правду, открыл средствие всем избавиться от нищеты и стать счастливыми. Не любил царь правды.

Старик стукнул посохом.

— Средствие мое не тяжкое, а легонькое, не завитное, а простое и для всякого человека доступное. В короткое время избавились бы люди от нужды и от постыдного убожества и зажили бы на свете фертом, припеваючи. Доискался я, граждане, что хлебопашество сделает всех людей равными и пресечет крылья роскоши и вожделениям. Когда каждый сядет на землю и у каждого родится свой хлеб, и никто не станет продавать его и покупать, тогда не надо будет прибегать и к ласкательству лукавому, и к насилию.

Старик повернулся к Безуглому.

— Старой власти не страшился, в глаза говорил и попу, и становому, что белыми руками царь ест не заработанное им, значит, ворованное.

Он поднял руку.

— Вам говорю прямо, учение ваше о разделении труда суть измышление диавольского ума. От него и неравенство, и зависть, и обман. Истинно сказано: «В поте лица твоего снеси хлеб свой». Сейте, граждане, сами, все сейте, тогда царство божие будет на земле.

Бидарев закрыл глаза. Голова его, как отрубленная, повисла на конце толстого посоха. Безуглый нагнулся над тетрадью.

«Семен Калистратович Бидарев. Маломощное середняцкое хозяйство. Ореол мученика за правду. Философ-самоучка. Переписка с Л. Толстым. Будет с ним канитель. . .»

Безуглый почувствовал, что все смотрят на него. Он положил карандаш, встал.

Собрание шло около сельсовета. Люди устроились на

бревнах, заготовленных для нового здания школы. Бородатые старожилы-кержаки в домотканных белых вышитых рубахах и в кошемных шляпах пирогами сидели широко, по-хозяйски. Новоселы кучкой жались в стороне. Над их картузами колыхались сизые табачные тучи. Вокруг всей площади около ворот цвели праздничные бабьи сарафаны. На собрании их было мало. Парни и девки с гармошками и балалайками ходили из одного конца села в другой, пели. Несколько девок, одетых по-городскому, в кофтах и коротких юбках прошли мимо сельсовета. Головы в картузах и в шляпах повернулись в их сторону. Девки выкрикивали нараспев:

Кержаки, вы, стары черти,
Нераскурливый народ.
Православны помирают,
Кержаков чорт не берет.

Картузы затряслись, загоготали. Шляпы опустились на носы. Андрон огрызнулся.

— Дуры христовы, кержаков сменяли на лешаков.

Долина, в которой стояло село, была похожа на глубокую яйцевидную чашу. Безуглый смотрел со дна, заваленного разноцветными кучами домов. Выше лежал черный крупичатый жир пашен. За ним — светлая зелень пастбищ и темные полосы пихтачей. Зубчатые края чаши были вытесаны из глыб мерзлого молока.

Безуглый минуту стоял молча. Он искал нужные слова.

Безуглый знал, что жизнь первых человеческих скоплений зарождалась здесь, в яйцевидных чашах-долинах. Отсюда людские множества начинали свое победное наступление. Человеческое море растекалось по поверхности земли, заливало все впадины, поднималось к вершинам. На дне долин оседали пестрые полосы поселений. Море росло непрерывно. На боках чаши это было видно,

как на водомерной шкале. Черный пашенный пояс ширился, зеленый лесной суживался. Человеческие дома отвердевали панцырями моллюсков. Их многочисленные колонии пожирали все, что росло на горах, и все, что было в недрах. Горы пережили рождение и гибель тьмы тем живых существ, и теперь мягкотелые моллюски — люди — точили их самих. Один вид моллюсков теснил другой. Звероловы и скотоводы с круглыми, мягкими панцырями юрт откочевывали выше. Земледельцы с твердыми, четырехугольными панцырями домов прочно присасывались к земле. Медведей, маралов и козлов вытесняли алтайцы, алтайцев — русские, русских старожилов — новоселы. Тридцать лет тому назад около Белых Ключей в двадцати долинах жили звери, в одной — люди. Теперь: в двадцати — люди, в одной — звери.

Безуглый нашел нужное слово. Он сказал, что теснота заставит людей объединиться. Он говорил о новом человеческом обществе, о плане великих работ в стране.

Вдруг он увидел, что его почти не слушают. Собрание замахивалось на него черными камнями зевков. Оно пока прятало их в широкие ладони. Оно скучливо скребло затылки, чтобы скрыть ножевый блеск глаз. Над собранием пучками соломы горели рыжие бороды рослых родственников Андрона.

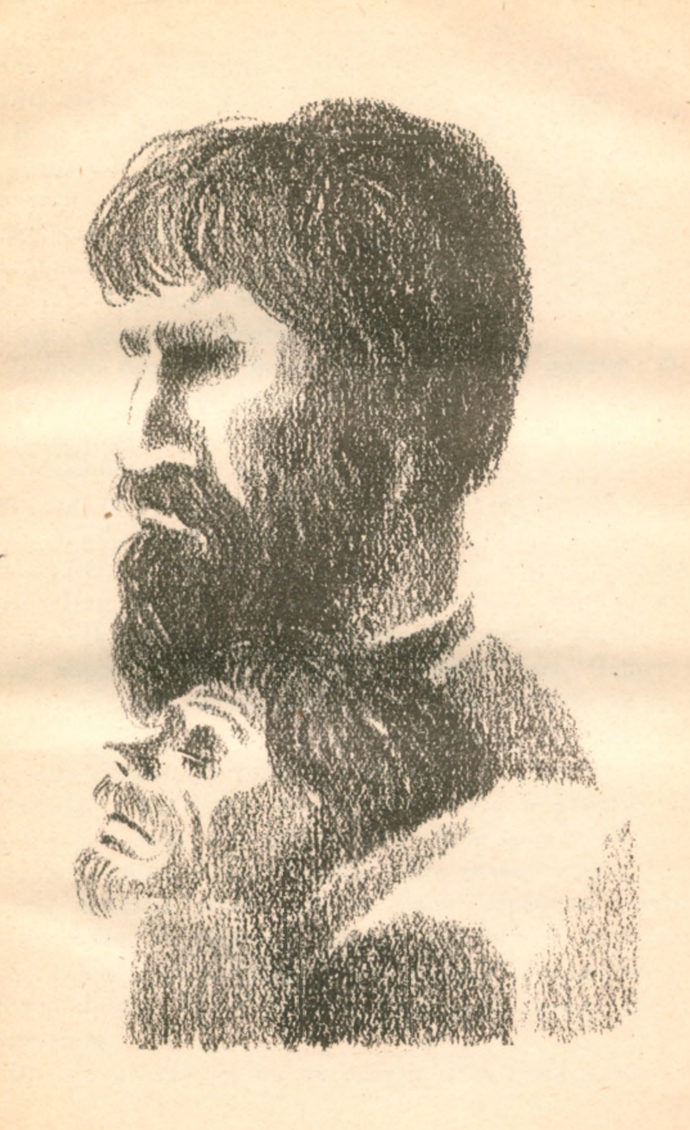
Андрон западал за спины, шептал:

— Я советской властью много доволен. Она меня человеком сделала. Бывало, сеял я сто десятин, пасеку имел триста ульев, маралов, коней, скотины сколь держал. Ланись пасеку нарушил, конишек лишних размотал, скотинешку поприрезал, пашню сократил.

Андрон дурашливо вздыхал.

— Жизня теперь у меня стала, покойник родитель сказал бы, не дай бог кака хороша.

Андрон заводил глаза под лоб.



— Бывало, я ночи не спал, поисть, рожу водой оплеснуть время не было. Шибко я убивался над хозяйством. Нонче я сплю, сколь душа просит. Ем чего мне желательно. Ране дурак был, на базар вез. В избу читательную стал ходить, газеты выписываю, руки с мылом мою, граждады.

Кержаки заминали в бородах огоньки улыбок.

Безуглый перед собранием просмотрел в сельсовете налоговые списки. Он знал село в двадцать первом году. Некоторые середняки стали кулаками, несколько бедняков перелезли в середняки. Места богатеев, убитых и бежавших с белыми в Китай, были заняты новыми людьми, которые ничем не отличались от прежних.

Бурьян братских могил заскрипел под ногами. Федя и тысячи без имен — напрасные жертвы? Деревня вырастила для себя нестрашных председателей Желаевых?

Собрание колыхалось, как безветренное озеро. Головы листьями лежали на воде. Безуглый вглядывался, словно искал брод. Берег трибуны показался ему слишком удаленным. Он в своих высоких сапогах вошел в первые ряды. Над безликой гладью поднялись плечи, глаза своих — Помольцева, Рукобилова, Игонина, Анны. Вылезли морды врагов — Моревых, Мамонтовых, Чащегоровых. Он говорил, топал ногой. Берег, на котором он стоял, опускался. Вода пошла на него, зашумела. Дальние ряды пересели ближе. Передние уплотнились. Многие встали, обступили докладчика. Горы сдвинулись к самому селу. Ущелья оскалили каменные зубы. Над собранием завыл снег, смешанный с пулями. Все было только вчера. Кровь убитых пачкала ноги живым. Свои теребили поясные ремни, точно на них еще висели подсумки с патронами. Разве деревня была когда-нибудь единой? Теперь он всех хорошо видел. Враги раками отползали назад, уходили с собрания.

Ничего нового он им не сказал. Они сами читали все

это в газетах, слышали в избе-читальне из глотки громкоговорителя. Тогда они не кричали и не плескали ладонями. Теперь Безуглый замолчал, оглушенный. Помольцев был громче всех.

— Правильно, командер!

Безуглый настаивал, чтобы собрание приняло твердый план посева. Большинство было на его стороне. Он отошел, сел.

К столу вышел кривоногий Кадытка. Он ранил и взял в плен Федю.

— Наша слова мошна?

Безуглый вздрогнул.

— Мы советскай власть на тесять лет отна курочка тавал. Газета нас писал — харошай человек педняк.

Кадытка показал на Андрона.

— Прат Сютка тватсать тестин сеял, пятьсот пут хлеп тавал. Газета писал — хутой человек, тюрьма ево сатил. Отнако не сеем — тюрьма не ситим. Зачем сеем?

Кадытка развел руками, воткнул в рот трубку. Кержаки закрывали шляпами хихикающие рожи. Цытарки дымились из-под картузов, как белые клыки. Безуглый поставил вопрос на голосование. Некоторые не голосовали ни за, ни против и не поднимали рук, когда он спрашивал, кто воздержался. Собрание выбрало комиссию, которой поручило сделать подворный учет семян и тягловой силы.

С собрания Безуглый шел, не замечая дороги. Помольцев взял его за локоть. Он не сразу понял, о чем тот говорит.

— Федорыч, покудов комиссия по дворам ходит, слётаем на белки. Снег одеялом плывет. Прозеленки большие стают. Зверю самый разгул.

Безуглый долго молчал, потом торопливо ответил, точно проснулся.

— Завтра едем.

Помольцев отошел. Безуглый догнал Анну.

2

Анна гладила Безуглого по голове, говорила:

— Поедешь мимо пасеки, вспомнишь... Я каждый раз, как бываю, все вспоминаю.

Она прижалась к нему

— Бывало, рассказываешь ты мне, ровно ведешь меня на высокую, высокую гору, и вся земля мне с нее — вот она, на ладонке подана.

Безуглый поцеловал Анну, ласково отстранил. Он снял со стены винтовку, подошел с ней к окну, вынул затвор. Стальные спирали нарезов заблестели на солнце. Безуглый не нашел ни одного пятнышка ржавчины. Он почувствовал упругий прилив крови в руках, когда представил себе, как его пуля свистнет над безмолвием каменных россыпей и повалит тяжелого зверя.

К окну верхом подъхал Мартемьян. В поводу он вел оседланную лошадь. Безуглый подтянул ремни у сапог, надел патронташ. Анна вынесла большую корзину шанег и калачей, сунула в сумины мешок с сухарями. Никита подал отцу плеть.

— Возьми, стодится, поди, конишку понужать. Сам изладил, бичик-то добрый.

Безуглый схватил сына подмышки, поднял его несколько раз над головой.

— Хозяин ты мой, заботливый.

Никита поправил смятую отцом рубашку.

— Мидвиденка мне привези.

Безуглый поцеловал его в лоб.

— Двух, сынок, привезу.

Мартемьян передал Безуглому повод.

— Тятя с Нефед Никифорычем ждут вас у поскотины.

Безуглый неловко сел в седло. Он подумал, что ехать с Андроном на охоту накануне хлебозаготовок неудобно. Он рассеянно простился с Анной. На краю села только поднял голову и сам себя успокоил.

«Лучше Андрона никто не знает зверя. Лошадь для охоты в горах надо выносливую. В пахоту такую ни у кого, кроме него, не найдешь. . .»

Безуглый махнул плетью, усмехнулся.

«Неужели я его на хлебозаготовках помилую?»

Небольшую остановку сделали на Баданной сопке. Помольцев поправил седло. Андрон взнуздал своего гнедого. Безуглый посмотрел вниз, на Белые Ключи. Село разлеглось на берегу Талицы. В Талицу около села впадали две реки — Погорелка и Банная. За поскотиной белели ключи — Крутой, Медвежий и Девичий. Долину обступали со всех сторон горы — Чупрачиха, Щебнюха, Воструха и Оградная. На вершине Оградной острые черные камни стояли плотным частоколом. Гора одним крутым боком нависла над Талицей, другим уперлась в Чупрачиху. Безуглый подумал, что кержаки недаром так ее назвали. Она, действительно, надежной оградой отделяла их от всего мира.

На Погорелке у кержаков был бой с войсками Екатерины. Во время сражения деревня и лес на реке выгорели. С тех пор реку и стали звать Погорелкой. На ней загустели малинники и кипрей. В цветочных зарослях обосновались пасеки. Безуглый увидел спичечные коробочки ульев и крыши игрушечных избенок.

Долина Банной была мокрая, в мочагах, в ключах. По ключам вытянулись высокие, крепкие изгороди. В них паслись стада маралов

На Талице работала водяная мельница. Около нее стояли подводы с зерном. За ней блестели новые крыши бараков. На работах звонили в рельсу. Стряпки суетились

около котлов. Рабочие шли с реки. От бараков через село и Оградную гору новенькими вешками торчали телефонные столбы.

Андрон сказал Безуглому:

— Агличаны-арендатели удумали Талицу на горы здымать. Тюрбину становить хочут.

Безуглый пробовал прочность патфеи и нагрудника.

— Где же рыбачить будете, Андрон Агатимыч, если они рыбе дорогу перегородят?

Андрон пренебрежительно шмыгнул носом.

— Захлебнутся, не дастся им река. Ране их, при царской власти, французишки тут хозяйствовали. Денег закопали большие тыщи, машин навезли, и все уплыло. Талица всю ихную хитрую механику в одночасье разбуровила.

Андрон засмеялся.

— Мусье главный бегат по берегу и ревет дурноматом: «Мюжики, мюжики, мюжики!» Ну, мужики ково сделают, ковда вода чертомелит — берега дрожат. Смеху было. . .

Охотники стали спускаться с сопки. Безуглый оглянулся и увидел в скиту за селом крышу звонницы с колоколами и крестом и длинный палец радиомачты над Белыми Ключами.

На северных склонах лошади шли по колено в мокром, скользком снегу, иногда проваливались по брюхо, опасливо всхрапывали, косились на седоков. Проталины на солнечных спусках цвели кандыком и подснежниками. Лошади топтали розовые и лиловые головки цветов. Деревья, подмытые водой и поваленные ветром, часто преграждали дорогу. Андрон с седла взмахивал топором, и сучья падали обрубленными лапами зверя.

Проехали полусгнившую охотничью избушку. Она косо вспучилась, осела набок большим, старым грибом. Андрон махнул в ее сторону.

— Ране здесь ясашные шибко соболя промышляли. Нонче зверь отшатился.

Помольцев дернул плечами.

— Многолюдство

Андрон вздохнул.

— Отаптываться стали места наши.

Светлые, теплые пальцы солнца шевелились в зеленых сучьях, пробегали по спинам всадников. Безуглый ехал с беспечностью кочевника. Он радовался всему, что видел. Если бы он был один, то наверное пел бы и скакал за солнцем. Солнце быстро уходило из долин на далекие вершины. Безуглый низко нагибался над седлом, теребил гриву коня и смеялся. Душистые ветки пихт хлестали его по лицу

На закате они расседлали лошадей. Багровые палы пылали в долинах, как жертвенные костры предков. Безуглый думал, что могучие, волосатые охотники недавно покинули свое стойбище, и обильные огни еще не успели потухнуть около земляных жилищ. Они скоро вернутся, сгибаясь под тяжестью теплых кусков сладкого мяса. Может быть, и он пойдет с ними на охоту. .

Земля задела за край солнца, загорелась. Облака повисли над ней большими клочьями дыма. От земли вспыхнул воздух и темные волосы лесов. Из скал вылились малиновые реки расплавленных металлов. Крутые лбы гор покрылись лиловыми морщинами ущелий. На горизонте бесшумно обрушивались и исчезали высокие хребты.

Безуглый почувствовал, что почва под ним колеблется, посмотрел себе под ноги. Андрон заметил его удивленные глаза, объяснил:

— Вода горы колыбает

Они остановились недалеко от большого водопада. Шум его был ясно слышен. Тяжелые, стремительные струи сотрясали землю.

Безуглый проснулся среди ночи. Его спутники спали. Лошади лежали недалеко от огня. Земля погасла, почернела. В темноте остатками пожарищ тлели полосы палов. Кучи гор остывали, потрескивали. Несколько камней прошуршали по сухой траве вниз мимо Безуглого. Холодный ветерок ударил ему в ухо и в щеку. Он отодвинулся, приподнялся на локте. Помольцев закашлялся.

— Федорыч, не спишь?

— Нет, а что?

Помольцев промолчал.

В темной тайге таял снег и с шорохом сползал небольшими оплывинами. Под ним звенели ручьи. Вода сочилась из камней, каплями стучала и булькала с круч. Переполненные каменные посудины текли через края. Вода расплескивалась по склонам, лилась из расщелин. В скалистых глубинах гремела Талица. Под ее волнами с ворчаньем катилась вторая река из камней. Горы истекали водой, снегом, льдом, камнями.

— Федорыч, я с тобой согласен, что попы безусловно для трудящегося народа есть религиозный опиум. Бога нет...

Помольцев глубоко вздохнул.

— Ну, а все-таки, куда вода девается?

Безуглый рассказал об извечном круговороте. Помольцев молча закрыл голову полой шубы.

Густые тучи задели за граненые вершины. Зашелестел редкий дождь. Туман осел до земли. Вода висела в воздухе мелкой пылью, падала крупными брызгами. Стало теплее. В мокрой парной темноте набухали корни деревьев и трав.

Безуглый лег на спину.

Поднялся ветер, изорвал в клочья облака. Охотник увидел большой звездопад. Метеоры падали из одного места, около созвездия Лиры, точно золотые ручьи растекались во все стороны с невидимой вершины.

Небо медленно бледнело.

На пихте около утеса завозился глухарь. Птица опустила крылья, веером подняла хвост, вытянула шею, призывно скрипнула клювом. В тайге запели серые дрозды, за ними проснулись чернозобые, засвистели рябчики, зачуфыкали тетерева.

Помольцев чихнул. Андрон заскреб бороду. Безуглый набрал в ключе полные пригоршни холодной воды, плеснул себе в лицо, весело фыркнул.

Анчи Енмеков услышал пьяный запах горячей араки, проснулся. Трехногий котел над огнем очага пучил черное круглое брюхо. В нем ворчливо переливался чегень. Арака по деревянному жолобу капала в узкогорлую высокую кадку. Илабас — жена младшего сына — макала в кадку длинную тряпичную кисть, обсасывала ее с чмоканьем и присвистом. Она пробовала крепость вина. Анчи молча протянул к ней руку. Она отвернулась, подала ему кисточку. Сноха не должна смотреть в глаза своему свекру. Анчи помял губами мокрые тряпицы, щелкнул языком. Арака была хороша.

Тойлонг — жена Анчи — стояла на коленях, растирала ручным жерновом зерна ячменя. С ее носа и щек падали крупные капли пота. Старшая сноха — Кысымай — крутила барабан зернодробилки. Старуха-бобылка — Иткоден — толкла в большой ступе просо. Все женщины работали полуголыми. Они спустили до пояса свои тяжелые овчины. Тела их были худы и смуглы.

Анчи набил трубку, закурил. С трубкой в зубах хорошо молчать и думать

Он ждал гостей. Их съедется много. Он устраивает весеннее камлание Ульгеню. К нему должна приехать дочь Темирбаш и его старый друг Иван Безуглый. Анчи был единственным человеком, который показал отряду Безуг-

лого переход на Кобанду через ледяные хребты. Анчи о многом надо спросить настоящего городского коммуниста.

Анчи помнит рассказы стариков. В прежнее время на Алтае народа было мало. Алтайцы тогда здесь жили, русских не знали. Тайга лежала на горах, как соболья шуба с горностаевым воротником. Так темны были ее чащи, так белы снега вершин. Горы поднимались, как полные груди матери. Из каменных сосцов бежали реки со вкусом молока. Пастбища в обширных долинах не могла перелететь сорока. Стада бродили, как звезды в небе, не знающие счета. В ту пору не было войн, и оружие служило потехой праздным. Анчи знает — обнищал отец Алтай. Шубу его дорогую русские изодрали. Остался от нее один белый воротник. Нагота его прикрыта черным сукном пожарищ. Были алтайцы хозяевами богатыми, стали батраками бедными. Золотом и серебром, отнятым у них, можно замостить весь Чуйский тракт, из слез их собрать вторую многоводную Катунь.

Анчи выколотил догоревшую трубку, вышел из юрты. Солнце остановило его у выхода. Анчи обеими руками закрыл глаза. Сквозь пальцы он видел, как на горах кипел и плавился снег. Он утирал рукавами слезы и тихо смеялся. Весна играла с ним, как с молодым.

Анчи пошел за стойбище. Около последних аилов на него с хохотом и визгом налетели несколько женщин. Серебро пело у них в косах и в ожерельях. Анчи едва успел посторониться. Женщины бежали от молодого кама Калтюбека. Он в страшной маске из бересты гнался за ними с деревянным фаллом, выкрикивал:

Я играл с сорока девицами!
Я играл с сорока старухами!

Женщины бросали каму сырчики, курут, ячменные лепешки и разбегались в притворном испуге.

Губы девиц — раскаленные щипцы!
Губы старух — засохшие тряпки!

Калтюбек заскакивал в юрты, обещал оплодотворение женщинам, кобылицам, коровам, овцам, козам. С ним вместе кричали и бегали все молодые мужчины. Солнце лило в их раскрытые глотки свою теплую золотую араку. Они, как пьяные, кидались от юрты к юрте. Яростная весенняя молитва шумела над стойбищем, как ветер.

Анчи поднимался на гору, пел.

Алтай, разоренный русскими, добр попрежнему к своим детям — алтайцам. Он дает им кандык и чеснок из своих непаханных огородов. Он на тучных пастбищах кормит их белый скот. Он наливает их берестяные ведра молоком. Он наполняет котлы аракой.

— Кайран[1] Алтай...

Анчи сел на камень. Справа от себя он увидел своих соседей — Ястакопа Ороева и Тохпу Тукешева. Они, как и он, сидели на камнях и пели. Может ли человек не петь весной? Анчи пел до заката.

В стойбище съезжались всадники — гости. Молоко плескалось в подойниках женщин. Облака молоком лились в небе. Дым, как от костров, поднимался от трубок гостей.

Аилы алтайцев стояли в полугоре, дым рос над ними высокими, широкорукими деревьями. Помольцев наклонился с седла, посмотрел вниз. Он сразу увидел юрты Енмековых. Охотники спустились к стойбищу, когда все мужчины с шаманом Мампыем уже уехали к жертвенникам. В юртах были только женщины и дети. Около аила Анчи стояла оседланная лошадь. Девушка-алтайка в синем халате снимала с седла тяжелые сумины. Безуглый быстро посмотрел на ее стриженую голову, соскочил с коня

[1] Непереводимое слово, его смысл — милый и уходящий.

— Здравствуйте, товарищ Темирбаш. Давно из Кутву?

Девушка тоже узнала Безуглого, протянула ему руку

— Я теперь работаю в Улале. Кутву кончила.

Около нее суетилась маленькая старая Тойлонг в высокой бараньей шапке, в праздничной голубой сатинетовой шубе и в бархатном черном чегелеке. На поясе у женщины рядом с кресалом и гребнем гремели большие ключи. Темирбаш положила ей на плечо руку.

— Товарищ Безуглый, посмотрите на мою маму.

Безуглый снял фуражку. Алтайка кивнула ему головой, но руки не подала. Темирбаш показала Безуглому ее ключи.

— Смотрите, какие мы богатые. Сколько у нас сундуков?..

Она быстро сосчитала.

— Целых пять.

Девушка громко засмеялась, подошла к аилу, откинула легкую дверцу из лиственничной коры. Безуглый увидел лохмотья, залатанные мешки, закопченные котлы, треног и единственный ящик, некрашеный, старый, без замка.

К жертвенникам они поехали вместе. На переправе через небольшую речку Темирбаш задела своим стременем стремя Безуглого, показала плетью на воду.

— Вот ключи к нашим богатствам. Они звенят на поясе у хана Алтая.

Девушка хлестнула споткнувшуюся лошадь, натянула повод

— Один алтаец-студент пишет мне из Ленинграда, что первым его проектом, когда он кончит вуз, будет проект алтайской гидроэлектроцентрали.

Безуглый обернулся к своей спутнице.

— Езуй Тантыбаров?

Щеки у Темирбаш стали краснее ее комсомольского значка.

— Откуда вы знаете? Вы с ним знакомы?

Безуглый отшутился.

— Я все знаю.

Береза — священное дерево. Она вся белая. На нее никогда не падает огонь молнии. Время ее цветения — весна.

Берез натыкали вокруг жертвенников. К березе привязали жертвенную лошадь. Березу с тремя вырубленными на ней ступенями и четырнадцатью зарубками вкопали перед открытым шалашом шамана.

Анчи и Мампый стояли на белой широкой кошме около костра. Анчи накаливал над огнем бубен. Он пробовал его колотушкой. Бубен звякал и глухо гудел. Мампый из кожаной бутылки наливал в деревянную чашу свежее молочное вино. Алтайцы жались плечом к плечу. Сзади них валялись кучи седел. Табун стреноженных коней пасся в долине. Гостей было много.

Охотники и Темирбаш сели в стороне. Несколько голов обернулись на них. Эргемей и Эрельдей — сыновья Анчи — молча поклонились Помольцеву. Гости поочереди подходили к шаману с полными бутылями в руках. Шаман араку каждому наливал в чашу, веткой вереска сплескивал ее на огонь и в стороны — Трехвершинной головы Катуни, Золотого Озера и Горы с Изгородью. Мампый был в белом длинном халате с красными нарукавниками, в белой берестяной высокой шапке с красными лентами и в красных мягких броднях. Красные ленты у него спускались до земли и с шапки, и с плеч. На ветру он весь струился огнем. Огонь лент бегал и в гриве белой кобылицы, и на веревке, протянутой по березам вокруг жертвенников.

Шаман высоко поднял бубен. Над головами алтайцев лопнуло небо. Голубые стекляшки со звоном посыпались

на горы. Люди втянули шеи в плечи. Шаман успокоил их ласковой песней.

На белом море с золотыми плесами
белые пены плывут.
На синем море с серебряными плесами
синие пены льются...

Мампый собирался за моря и горы. Он звал оттуда с золотых и серебряных плесов хозяина своего бубна — серого гуся с черными крыльями. Мампый медленно, как на волнах, покачивался из стороны в сторону. Он плыл к далекому жилищу Ульгеня.

Чистый Алтай земля-вода,
будет ли вечным пламенный очаг в небе?

Темирбаш переводила Безуглому выкрики шамана.

Обширный Алтай с горбами верблюдов
и гривами коней,
положенный огонь будет ли жарким?
Будет ли с нагаром огонь, как толокно?
Зажженный огонь будет ли метать искры?
Даст ли род потомство?

Мампый бил в бубен. Подземные урчащие удары раздирали каменные утробы гор. Горы качались. Над вершинами с шелестом и треском взметывались седые столбы снежной пыли. Лавины и каменные осыпи обрывались вниз тяжелыми скоплениями лавы.

Хранитель шести слег юрты,
стерегущий грозное огнище мое,
малых детей охраняющий,
скот и птицу охраняющий...

Мампый кружился, скакал. Горы гремели у него под ногами, как море. Соленая пена залепляла ему рот, падала на грудь. Он задыхался, косил глаза.

Создатель широкой красоты,
Алтай в красоте создавший,
ты перекатываешь солнце и луну,
ты все измерил ложкой и совком...

Шаман поджимал ноги, прыгал. Он шел раскаленными песками красной пустыни. Сразу за ней ему преградила дорогу огромная ледяная гора. Мампый скакнул на первую ступеньку березы, закричал:

— Поднимаюсь!

Анчи, Эргемей, Эрельдей и их гости махали руками подражая движению птичьих крыльев, повторяли:

— Поднимаемся! Поднимаемся!

Безуглый закрыл рукою рот. Алтайцы показались ему ребятишками, затеявшими большую игру у огня. Он тронул плечо Темирбаш. Она не оглянулась.

Широкие трещины рвали гору. Шаман нагибался и зашивал их крупными стежками. Он кричал вороном, куковал кукушкой, выл волком, ворчал медведем. От него шел острый запах. Его круглое, красное лицо было иссечено темными полосами пота. Мампый метался в тысячелетней тоске земных тварей по крыльям. В его песнях жила древняя и гордая мечта человека о захвате вселенной. Он бормотал:

Смотря глазами сквозь гору,
сквозь землю проникая думой...

За огненным кругом костра начинались сумерки изначального хаоса. Люди-дети беспечно пели свои дерзкие песни на самом краю мира. Они утверждали, что вселенная — только пастбище их коней, звезды — колья золотой коновязи. Ведь жертвенная кобыла была привязана не к березе, а к Полярной Звезде.

На скользкой ледяной вершине холодные ветры крутили халат шамана. Он бежал мелкими, осторожными

шажками. Под ногами у него хрустели кости — птичьи, звериные, человечьи. Тысячи тысяч тварей погибли на последнем перевале. Мампый миновал его, положил бубен.

Эрельдей подошел к шаману с чашей молока первого весеннего удоя. Эргемей зажег пучок вереску, надел его на березовую палку. Шаман вылил молоко на лошадь, окурил ее. В сумерках белые бока животного багровели от огня, точно в них открывались большие кровавые раны. Лошадь тревожно ржала.

Пусть головы наши будут в покое!
Пусть лошади дышат спокойно!
Пусть не стираются наши мясные сердца!

Шаман скакал выше и выше. Его ноги доставали самую верхнюю, семнадцатую зарубку. Одно за одним раскрывались и захлопывались семнадцать железных грохочущих небес. Он проскочил их все. Он встал на березе перед золотыми воротами аила Ульгеня. Алтайцы сидели с полураскрытыми ртами. Они сдерживали дыхание. Мампый тихо дунул в одну сторону, повернулся, подул в другую, в третью, в четвертую. Он вдувал жизнь в травы, в деревья, в скот, в людей, во все, что растет под солнцем. Из его бубна на алтайцев смотрели медные пуговицы глаз бога.

Алтай даст ли успокаивающее решение,
к скоту моему прибавляя скот,
к головам нашим прибавляя головы?

Шаман просил изобилия молока, ячменя, удачи на охоте, благополучия стойбищам. На небе догорал медно-красный порог юрты Ульгеня. Полная, низкая луна поднималась за плечами Мампыя круглой желтой тенью бубна.

Мампый опять заколотил в бубен. Шерсть на коже

его колотушки зажигалась и падала синими огнями. Он стоял высоко. Он сотрясал небо. С неба сыпались звезды.

Луна потускнела за маленьким облаком. Она стала похожа на медный глаз бога из бубна Мампыя. Мампый, как потухшую луну, опустил бубен на белую кошму. Огненные ленты молниями ударили шамана и погасли. Шаман упал на землю, лицом вниз. Он спал. Алтайцы засыпали, отваливаясь на седла. Ломаные линии гор были отчеркнуты на небе густым углем.

Ранним рассветом шаман подошел к жертве. Эргемей и Эрельдей надели на ноги животного четыре длинных волосяных аркана. Несколько человек взялись за их концы. Мампый склонил голову. Безуглый услышал хруст костей и стоны раздираемой лошади. Алтайцы согнулись под тяжестью лямок, как бурлаки. Они тянули дружно в разные стороны. Лошадь оборвала узду, закинула голову на спину, захрипела. Ноги у нее разъезжались, точно земля сразу стала скользкой. Трехлетняя кобылица бессильно билась большой белой мухой в крепкой паутине арканов. Шаман подскочил лохматым пауком и впился ей в морду. Она упала на брюхо. Сломанные ноги торчали из-под нее толстыми березовыми палками. Мампый отпустил руки. Жертве распороли грудь. Она дернулась, уронила изо рта большой, темный язык. Кровь вырвалась из нее, как пламя. Ободранная, растянутая, она была громадна. Она легла во весь Алтай у красного порога зари. Кожу ее повесили на березовую жердь, головой на восток. На нее кричали, ее погоняли. Она пошла через высокую голубую скалу, через скользкие черные камни, через великие пески к ведающему ее головой. Шаман в жертву горам разбрызгивал горячую кровь, раскидывал куски мяса. Алтайцы с криками хватали в воздухе невидимое счастье, бросали вверх девять чашек, чтобы никогда не иссякала в них пища.

Шаман сел на кошму. Алтайцы обступили его плотным черноголовым кругом. Он начал рассказ о своем полете на семнадцатое небо.

Худые времена настают. Скоро русские прогонят алтайцев с Алтая. Он видел много крови..

Безуглый, почти не глядя на бумагу, быстро записал:

«Мампый, шаман, очень авторитетен. Дискредитировать и устранить в первую очередь. Кампанию начать через газету из Улалы. Договориться с Темирбаш».

Андрон ткнул в бок Помольцева.

— Мотри, опеть пишет.

Он покачал головой.

— Чует мое серсе, оставит нас без углов етот Безуглый. Взгляд ево мне не глянется. Он бутто и на тебя глядит, и не гордится, а все свое думат, своя у ево думка завсегда, ровно у зверя.

К Безуглому подошла Темирбаш. Он сразу заговорил с ней о Мампые. Глаза ее были пусты. Безуглый заметил.

— Я прошу ответить прямо, согласны вы со мной или нет?

Темирбаш съежилась.

— Товарищ Безуглый, я знаю, что шаман наш враг. Бороться с ним я буду...

Девушка робко снизу вверх посмотрела в глаза коммуниста.

— Не знаю почему, только мне иногда нравятся его песни и хочется самой взять бубен, петь, кричать.

Безуглый сдвинул брови.

Алтайцы сидели вокруг дымящихся котлов. Они держали в руках круглые деревянные чаши, полные хмельной араки. На губах и на щеках у них блестел жир.

Охотники остановились на опушке последнего леса. Головы лошадей были выше верхушек низкорослых кед-

ров. У конских копыт лежала морщинистая равнина горной тундры. В ее складках и углублениях белел снег. На ней стлались скрюченные бурые стволы карликовых берез.

Эрельдей быстро мелькнул с седла, нагнулся над длинной полосой снега. Андрон грузно опустился с ним рядом. Безуглый с лошади увидел глубокие следы зверей. Они шли двумя цепочками. Одна — на юг, другая — на восток. Безуглому стало трудно дышать. Он не мог отвести взгляда от пятипалых отпечатков на снегу. Он не в первый раз видел следы медведей. Они всегда волновали его своим сходством с человеческими. Босые предки пробрели тут в утомительных поисках пищи. Он скоро увидит их волосатые мускулистые спины.

Безуглый, Андрон и Помольцев пошли на юг. Эргемей и Эрельдей — на восток.

Алтайцы были уверены, что охота будет добычливой. У них на этот счет имелись очень веские основания. Во-первых, оба они — Эргемей и Эрельдей — в ночь перед выездом из аилов видели один и тот же хороший сон, — им кто-то подарил по шубе. Всякому охотнику известно, что шуба во сне — значит убитый медведь наяву. Во-вторых, Кудан, белобородый начальник, создавший ловушки и самострелы, получил белую овцу. Чаши, брошенные во время жертвоприношения с вопросом об успешности охоты, одна за другой упали дном вниз. В-третьих, сборы и выезд были проведены по нерушимым правилам предков. Дорогой они прошептали обращение к Алтаю:

В старину отцы наши ходили.
теперь мы, молодые, идем,
кружимся и потеем, неумелые парни.
Из охотничьей сумы нам часть дай.
Из твоей дичи хотя бы одну покажи...

На первом перевале около священного або сделали вид, что раскладывают жертвенный костер. Набрали сухой травы, сучьев, сложили все кучкой, но не зажгли. На або бросили по пуле вместо обычных пучков конских волос, ленточек или камешков. Разговаривали шопотом, на особом условном языке, чтобы звери не могли их услышать и понять. Ружье называли зятем, пулю — подарком невесты, медведя величали прадедом и великим человеком. Наконец, в-четвертых, Эргемей и Эрельдей очень хорошо знали места медвежьих весенних гульбищ и были далеко не такими неопытными на охоте людьми, какими выставляли себя перед Алтаем.

Алтайцы ехали спокойно, развалившись в седлах.

Русские шли пешком медленно и молча. Андрон часто наклонялся, разглядывал смятую и поеденную зелень. На мху и молодой траве следы были едва заметны. Безуглый задевал за камни, спотыкался, скользил на снегу и с робостью школьника смотрел на спутников. Он только тут заметил свои громоздкие городские ноги. Полушубок на нем топорщился, расстегивался. Шапка лезла на потный лоб, на глаза. Нож ерзал по поясу и очень мешал. У винтовки слишком громко стучали антабки. Безуглый был хорошим охотником на равнине. В горах он учился ходить. Сердце качалось у него в груди, как тяжелый язык набатного колокола.

Алтайцы первого зверя увидели на кривой луговине. Он щипал траву с низко опущенной головой. Он был совсем как безрогая и бесхвостая корова. Охотники сошли с лошадей. Эрельдей вытащил из кожаной сумы большой деревянный шар, утыканный длинными, острыми гвоздями с бородками, как у рыболовных крючков. Эрельдей держал его на короткой веревке. Он блестел иглами, как еж. Эргемей взвел курок своей шомпольной винтовки. Братья подползли к медведю. Эргемей поставил ружье на

сошки, навел его на голову зверя. Эрельдей встал перед зверем с ножом и игольчатым шаром. Его отец, дед и прадед всегда стояли так же — широко и крепко расставив ноги. Зверь с силой потянул в себя воздух. Шерсть поднялась у него на шее и на спине. Эрельдей размахнулся и бросил ему колючий клубок. Он вскочил на дыбы, обеими лапами схватил железного ежа, накололся, заревел, цапнул колючки зубами. Колючки воткнулись ему в пальцы, в нёбо, в губы, в язык. Задиристые бородки привязали лапу к лапе и обе их к морде. Он бился, как связанный, сопел, урчал. Эрельдей подбежал к нему и, подпрыгнув, воткнул нож до рукоятки в косматую грудь. Медведь мешком свалился на бок. Задние ноги у него дергались, под шкурой ходили короткие волны. Эрельдей оглянулся на брата, крикнул:

— Вот как колю я, Эрельдей!

Шкуру снимали с шутками, старались ими обмануть убитого. Отделяя кожу от лап, уверяли, что только почешут ему пальчики, добравшись ножами до хребта, говорили, что погладят ему спинку, и в один голос клялись, что не они его убили, а русские. Ободранную тушу отстегали плетями, выбили у нее все зубы. Эрельдей отрезал голову, насадил ее на кол, опалил на костре. Эргемей звенел шомполами, выкрикивал:

Ходивши по земле с дудками,
подарок от невесты получил-де, скажи!
Ходивши по земле с пучками,
голову размозжил-де, скажи!
Видеть не мог — глаза маленькие,
оттого умер, скажи!
Мочиться не мог — он маленький,
оттого умер, скажи!..

Кол с головой воткнули в землю, выстрелили в нее по одному разу. Рядом положили слепленную из глины фи-

гуру медведя. Они знали, что Алтай оживит сделанного ими зверя, духи поэтому не узнают об убийстве одного из прадедов, не станут преследовать смелых охотников. На всякий случай они впрочем в нескольких местах поломали шомполами свои следы. Ведь духи могут гнаться за людьми, если следы их не тронуты. На испорченных они, конечно, бессильны. Отважные звероловы теперь спокойно могут тащить к стану и шкуру, и сало, и мясо медведя.

Русской группе не повезло. Она не нашла медведей. Снег, твердый с утра, к полдню раскис, перестал держать охотников. Безутлый провалился по пояс, отстал. Снег набился в сапоги, в брюки, в дуло ружья. До твердой проталины ему долго пришлось ползти на животе. Андрон был зол. Неудача черной тенью лежала на его лице. Он оглянулся, увидел Безутлого, посветлел. Безутлый без шапки, разутый, сосредоточенно выворачивал карманы, полные снега.

Алтайцы мясо зарыли в снег, шкуру спрятали в лесу. Люди не должны знать сегодня, что они убили своего великого прадеда. Рассказать об охоте сегодня, показать свою добычу — значит обречь себя на неудачу завтра. Эргемей и Эрельдей это правило твердо помнили. Они не скажут ни слова русским. Русским можно только дать понять, намекнуть, что братья Енмековы вернулись не с пустыми руками. Они сделали из веток кедра большой шалаш, разложили костер, отметили священную восточную сторону шнуром с девятью цветными лоскутами.

Андрон остановил Помольцева и Безутлого.

— Порядок ихный знаете? Глядите, надулись, ровно петухи, видать, добыли зверишку.

Эргемей и Эрельдей ходили около огня. Движения их были замедленны, спокойствие подчеркнуто. Лица, фигуры обоих преисполнены важности.

Костер горел всю ночь. Охотники лежали под шубами на мягкой хвое. Звуки, которые издавали их носы, губы и глотки, не уступали по силе и густоте храпу пятерки лошадей. Воздух в шалаше держался горячий. Люди ненадолго вернулись к одному огню. Они — враги. Войну начали еще их деды...

Дед Андрона Магафор пришел на Алтай с Поморья девяносто лет тому назад. Долину Талицы облюбовали они вчетвером — Магафор, Киприян и Евлантий с женой Милодорой. Киприяну и Евлантию было по тридцати лет. На груди у них черными досками лежали бороды. Милодоре было двадцать два года. У нее на лице никогда не угасал румянец. Магафору было двадцать три. У него на щеках и на подбородке желтел пух. В первую их остановку на берегу Талицы, когда все спали, Магафор встал посмотреть коней. Он разжег жаркий костер. Милодора лежала ближе всех к огню. Магафор неожиданно увидел ее могучие, толстые ноги, оголенные выше колен. Он качнулся, неверными руками схватил топор, со всего размаху воткнул его в высокую пихту. Дерево звонко задрожало. В черни прошумел удар, третий, пятый. Никто не проснулся. Евлантий и Киприян храпели. Милодора чмокала губами, бормотала. Лошади паслись спокойно. Магафор подошел к Евлантию. На лоб спящего упал сверкающий четырехугольник топора. Лезвие лязгнуло о камень. В траве зашипела и забулькала кровь. Он подкрался к Киприяну и рубнул его по затылку. Милодора лежала, мягкая, теплая. Магафор рухнул на ее круглый живот. Милодора проснулась, тронула руками его щеки, подбородок и закричала. Магафор впился зубами ей в губы. Она сбросила его с себя. Он схватил ее за горло, стал рвать на ней платье. Милодора грызла у него грудь. Магафор ломал ей ребра. Они двумя темными, большими рыбами возились на траве, горячей и скользкой от крови.

Под ними камнями перекатывались убитые. Руки их шлепали, как плавники. Ноги двумя раздвоенными хвостами бешено били землю, разметывали костер. Угли летели кусками крови. Милодора обессилела и стихла. Магафор навалился на нее, засопел. Тайга тысячеверстной черной пещерой сдвинула над ними свои своды.

Утром люди стали рубить избу.

Убитых раздели, рубахи и портки с них выполоскали, прибрали. Трупы отволокли в колодник, засыпали мхом и буреломом.

Следом за Магафором и Милодорой на Талицу пришли несколько семей. Они расселились по ключам в щелях на версту, на две друг от друга. Табуны кочевников стали топтать их поля с густыми зелеными хлебами. Переговоры ни к чему не привели. Кочевники не хотели уходить с земли, которую издавна считали своей. Русские взялись за ружья. Алтайцы были отогнаны, часть их табунов осталась у победителей. Новые насельники объявили побитым за ружья. Алтайцы были отогнаны, часть их табунов останиям ближе, чем на сорок верст. Русские стали считать своим правом убийство каждого «остроголового» (алтайца или киргиза), встреченного в запретной полосе.

Земли алтайские были сильны. Они отдавали захватчикам за каждое зерно, брошенное весной, тридцать к концу лета. Чернь хорошо родила зверя. Завоеватели ели сытно, пили сладкую медовую брагу, одевались тепло и нарядно. Из щелей они спустились на дно долины, на чистое место, срубили деревню. Дома были без окон на улицу, с высокими заборами, с громадными воротами, все из белочных, твердых, как кремень, лиственниц. Деревня вражьей крепостью стала на земле вольных кочевников.

Сибирь издавна влекла к себе своим обилием и просторами. Страна, открытая и завоеванная людьми, бежавшими от жестокостей царя Ивана Грозного, стала обето-

ванной землей для всех гонимых. В Сибирь одними из первых пошли раскольники, спасаясь от костров царевны Софьи и от «немецких» порядков Петра. На Алтай раскольники текли с Поморья, с Керженца, с Устюга Великого, с Соли Вычегодской, с Мезени, с Вятки, с Камы, с Волги. За ними шли семьями и селами крестьяне от государевых тягот, от военной службы, от холопьей доли, от нищеты, брели беглые колодники и солдаты, полз пестрый сброд бродяг, любителей легкой наживы, искателей приключений, людей «гулящих». Они шли неутомимо, через таежные чащобы, через болота, озера, реки и горы. Они искали сказочное «Беловодье», где «господь бог щедрою рукою рассыпал всякого добра на поживу человека». Им выпало на долю освоить бескрайные богатые пустыни Сибири.

В восемнадцатом веке на Алтае открылись Колывано-Воскресенские и Барнаульские заводы и Змеиногорские серебро-свинцовые рудники Акинфия Демидова. Хозяин привез рабочих с Урала, главным образом «беглых» и раскольников. Условия работы были каторжные — длинный рабочий день, ничтожный заработок, недоедание, вонючие казармы, кнут. К заводам приписали большие округи, заставили крестьян в порядке казенной повинности рубить лес, жечь уголь, возить строительные материалы, топливо. Крестьяне, замученные работами, и «бергалы» (рабочие), доведенные до отчаяния, бежали в «камень» (в горы), к «каменщикам» и к «полякам» (к раскольникам, силою возвращенным из Польши Екатериной Второй, куда они ушли из России в поисках древнего благочестия), основывали с ними новые тайные поселения. Беглецы уходили как можно дальше от страшных высоких труб, «чтобы жить в легкости», «чтобы их никто и нигде не мог сыскать». С заводов за ними снаряжали погони. Солдаты стреляли и ловили беглецов, разоряли и жгли их избушки.

«Каменщики» вступали с войсками в бой или запирались со «стариком» в своей «моленной», ругали солдат, плевали на них через оконца, поносили веру антихриста и самосжигались. На предложение офицера сдаться и вернуться на завод обычно отвечали:

— Будем гореть, потому работать нам весьма натужно.

Они исчезали в дыму и огне.

В горах уживались только сильные и безжалостные. Гонимые по ту сторону Урала и в предгорьях Алтая, раскольники далеко в горах сами становились гонителями. Они жили скрытно, разрозненно. Они сходились и съезжались, как запорожцы на раду, изредка для решения общих дел — для организации походов на алтайцев и киргизов, для поездок за женщинами и солью, для суда и расправы над своими преступниками. Осужденных они привязывали к небольшим плотам и пускали вниз по реке. Преступники погибали на порогах. За солью пробирались тайно, ночами, на озера завода. Женщин подкарауливали в лесах, около деревень и алтайских стойбищ. Им доставались грибницы и ягодницы. Они делали набеги и на поля во время уборки хлеба, хватали себе в седла жниц. Полонянок потом переманивали друг у друга, покупали, продавали, воровали. Из-за женщин на-смерть рубились, резались, стрелялись. Алтайцев и киргизов русские сгоняли с обжитых мест, захватывали их небольшие, но готовые пашни, их пастбища, их скот, лошадей. Ни леса, ни зверя, ни рыбы они не берегли. «Иноверцы» бежали в Китай. Русские переходили границу следом за ними. Горная вольница буйствовала на Алтае до конца восемнадцатого века. Она никому не платила дани, не признавала ни русских, ни китайских властей.

В горах задымились рудники Бухтарминские, Риддеровские, Зыряновские. Жизнь стала опаснее и тяжелее. «Каменщикам» надо было «беречься» и алтайцев, и кир-

гизов, и китайцев, и царских солдат. Они решили проситься под китайского богдыхана. Богдыхан в свое подданство не принял. Раскольники «поклонились» русской царице. Екатерина их «простила», на сто лет освободила от военной службы, обложила ясаком наравне с «иноверцами». Они вышли с заимок, построили деревни. «Каменщики» сблизились с «поляками», смешались с раскольниками из керженских лесов, стали называться «кержаками».

В девятнадцатом веке Китай и Россия разделили Алтай. Реки, текущие на север, отошли русским, реки на юг — китайцам. Кержаки оказались хозяевами огромной страны, в которой «воды сладчайшия и рыбы различныя множество», зверь в изобилии, а «на исходищах рек дебрь плодовита на жатву и скотопитательные места пространны зело. . .» [1]

Долина Талицы была захвачена русскими одной из последних. В меньших размерах история ее слово в слово повторила историю заселения всей страны. В долину вместе с переселенцами из России стекались и беспокойные люди из обжитых углов Алтая. Одни строили прочные дома с расчетом «на век», другие тяпали немудрые избенки, не покрывали их даже крышей в надежде на скорый переезд. Бескрышные жили в селе год, два, три и уходили в Монголию, в Китай, на Мамур-реку (на Амур), на Зеленый Клин (в Приморье). Они упорно разыскивали «Белые Воды». Некоторые из них иногда задерживались на одном месте лет на двадцать, доживали до старости, но жилищ своих так и не покрывали, не оставляли упрямой мечты об уходе в страну, которой не было. Случалось, что мечтатели заражали и старожилов своими страстными стремлениями к поиску чудесной земли. Целые села вдруг

---

[1] Сибирский летописец Савва Есипов, 1636 год.

бросали дома, пашни, пасеки, маральники и уходили на «Беловодье».

Начало Белым Ключам положили пять родов — Моревы, Чащегоровы, Мамонтовы, Бухтеевы и Пахтины. Все — ревностные поборники древнего благочестия, «святой» отеческой старой веры. Они не употребляли табаку и чаю, не пили из одной чашки с «мирскими», не брили бород, крестились широким двуперстным знаменем. Разбогатели они быстро.

Магафор Морев начал с топора и пули. Топором он взял не только жену, но и деньги, и лучшую землю. Он зарубил богатого проезжего купца, заночевавшего у него, воспользовался его деньгами. Он засек в пьяной драке своего конкурента мараловода Мамонтова, завладел его звериным «садом» и полем. Пулей Магафор добыл скот на пастбищах алтайцев и пушнину в черни. Односельцы звали его мясорубом. Он был самым богатым в Белых Ключах, поэтому считал себя «первым» человеком, о себе и родном Поморье говорил всегда с гордостью.

— Город наш Кола — крюк, народ — уда, что ни слово, то и зазубра.

У Магафора было пять сыновей. С отцом остался только старший, Агатим, остальные ушли искать новые земли. Агатим был хитер, жаден и предприимчив. Хозяйство отцовское он приумножил. Агатим не утруждал себя тяжелой охотой за пушным зверем. Он подкарауливал счастливых охотников-алтайцев и одним выстрелом сразу добывал несколько соболей, десятки колонков, сотни белок. Осторожный мужик не подвергал себя случайностям боевых набегов на кочевников-скотоводов. Он предпочитал скупать за бесценок лошадей, угнанных другими. Обобранные туземцы нанимались к нему в батраки. Перед расчетом они часто пропадали без вести, или тонули в Талице, Агатим в таких случаях с простодушием заявлял уряднику:

— На Вонючем Боме голову, чо ли, у сво обнесло, курнулся в воду. С пасеки мы с им ехали.

Агатим недоуменно разводил руками.

— Известно дело, нехристь, души в ем нет, ровно в звере, пар один, а сожалось у меня серсе. Стою, жалкую, гляжу, шапчонку ево бьет волна...

Агатим опускал глаза, складывал руки. Урядник крякал, косился на лагушек с медовухой.

На своей пасеке Агатим охотно давал приют беглым каторжникам и бродягам. Он искал среди них «фабриканта», который умел бы делать «гумажки». «Фабрикант» в конце концов нашелся, и «фабрика» заработала. Агатим покупал на фальшивые деньги скот у доверчивых алтайцев, ботател. Он был предусмотрителен и умел прятать концы в воду и в огонь. «Фабрика» со станком и с мастером у него сгорела накануне обыска. Становой ничего не нашел, но домой вернулся веселый.

Последним делом жизни Агатима была постройка большой молельни. Денег на нее он не жалел. Плотников хорошо кормил, по окончании работ рассчитал честно и сам вызвался вывести их на тракт кратчайшей тропой через свою пасеку. Вечером на пасеке Агатим в последний раз угостил строителей трехлетней медовухой, сладкой, как виноградный сок, и крепкой, как спирт. Сон пьяных был непробуден. Агатим, как у мертвых, выворачивал у спящих карманы, вытаскивал деньги из секретных мешочков, из-за пазух. Утром обобранные сволокли сонного Агатима с нар, стали бить. Агатим в краже не сознавался. Плотники выщипали у него по волоску всю бороду, выбили все зубы, курнали его в Талице, подолгу держали под водой. Мокрый, ощипанный, пусторотый, багровый от побоев, он ползал на животе, целовал сапоги своих мучителей, клялся всеми святыми, что никогда в жизни никого не обманывал, молил о пощаде. Деньги он не отдал. Плот-

ники устали. Они подняли его за руки и за ноги, несколько раз ударили поясницей о землю и ушли.

Агатима через три дня нашла жена. Он был жив. Муж с трудом сказал жене, где закопал деньги. Она вырыла их из-под улья, принесла ему сверток бумажек и несколько горстей серебра с медью. Он взглянул на деньги, улыбка загорелась у него в глазах. Он с ней и умер, повеселевший и успокоенный.

Сын Агатима Андрон считал, что убивать человека опасно и невыгодно. На людей он смотрел, как на кур, которые при умелом уходе могут нести золотые яйца. Андрон за всю свою жизнь никого не убил, не избил, не обругал, ни с кем не обошелся грубо. С начальством был льстив, с односельчанами приветлив, с батраками снисходительно ласков. Медовуха часто была для Андрона тем же, чем для Магафора топор и для Агатима денежный станок. Все торговые сделки, прием и увольнение рабочих он проводил со стаканом в руке, с улыбкой и поклоном. Он находил, что с охмелевшими людьми разговаривать и рассчитываться гораздо легче и прибыльнее, чем с трезвыми. В сенокос, в страду, во время срезки рогов у маралов на него работали десятки «помочан», которые получали за «помочь» только медовуху, дневное пропитание да доброе слово хозяина. Андрон обогатился на широком применении наемного труда, на использовании машин, агрономических знаний и на всяких перекупках-перепродажах. Он первый в селе завел сеялку, жнейку, молотилку, сепаратор, первый стал разводить племенной скот и птицу, кровных лошадей, породистых кроликов. Он ранее других пчеловодов перешел на рамочные ульи. Он один сеял клевер. На сельскохозяйственных выставках и до, и после революции он неоднократно получал награды и похвальные отзывы. Его хозяйство в последнее время было признано культурным и показательным. Революция

отняла у Андрона царские и колчаковские бумажки (десятки тысяч рублей), помяла его хозяйство. Андрон выждал, огляделся, рассчитал и начал строить все заново. Основными источниками дохода у него попрежнему остались наемный труд и машины. Разница была только в том, что он «перестал нанимать батраков», у него работали теперь только «родственники». Посевы его опять были громадны, но три четверти их он скрывал. Он давал неверные сведения и о количестве своих машин, скота, лошадей. Председатель и секретарь сельсовета были на его полном содержании, поэтому он чувствовал себя в безопасности. Некоторой защитой служила ему и вывеска культурника. Он окреп настолько, что стал задерживать в своих амбарах зерно, рассчитывая таким образом поднять на него цену. Цены не поднялись. В Белые Ключи приехал из города коммунист, объявил, что он — уполномоченный по хлебозаготовкам. Андрон одним из первых получил от него предложение сдать хлебные излишки.

Андрон проснулся с рассветом. Он приподнялся на локте и долго смотрел на спящего Безуглого. Безуглый стонал и морщился. У него болела старая рана. Во сне он снова падал с узкой тропы, качался в ветвях кедра, наваливался на Андрона. Он слышал, как под ним хрустели сучья и кости. Он задыхался в густой зелени дерева и в длинных волосах Морева. Безуглый с трудом поднял тяжелые веки. Солнце кусками спекшейся крови запуталось в бороде Андрона, размазалось на щеках. Безуглый в первую минуту не понял, во сне или наяву он раздавил своего спасителя, окровавил его лохматую голову.

Костер жгли и днем. На горах лежал туман, плотный и серый, как овсяный кисель. Охотиться было нельзя. Безуглый в третий раз разбирал и чистил затвор вин-

товки. Алтайцы сосали длинные трубки. Помольцев дремал у огня. Андрон грел в дыму руки.

— Глянулся ты мне, Федорыч, в двадцать первом годе. С охотой ходил я за тобой, хорошо ты поправлялся у меня.

Андрон посмотрел на Безуглого.

— Если бы все-таки коммунисты да поставили бы тебя над Алтаем. . .

Безуглый разглядывал пузырек с ружейным маслом.

— Обидно нам, что алтаишка у нас в области придседателем. Ужели руйского не нашли?

Безуглый не ответил.

— Мы сознаем, што власти без налоту аль без заготовки нельзя. Не к тому я веду беседу. Тягостью хрестьянина не задавишь, порядок был бы.

Андрон подложил в костер дров.

— Не век же, поди, река дурить будет, чертомелить, карежить всё?

Безуглый щелкнул затвором.

— Она войдет в берега, Андрон Агатимыч, но потечет по новому руслу.

Андрон не слышал

— Куропашка-птиса и та за свое гнездо бьется, собственность свою соблюдает, не щадя жисти. Каково же хрестьянину собственности лишаться. Собственности нету, и антиресу нету.

Ветер закрыл Андрона дымом. Он перешел на другую сторону.

— Кумыной ни одно восударство не живет, а нам хотится всех догнать и перегнать. Ежели догонять, то зачем коллектив, у их этого и в заводе нет. Али это перегон-то самый и есть? Товда почему перегон наперед догону стоит? По первости надо образованность таку поиметь, кака у их, дорог железных настроить поболе, фабрик.

Андрон говорил быстро. Злоба мелкой дрожью била его руки и глотку.

— Шутка в деле догнать. Да нам всюю Америку дай, слопам в один год без остатку. Народ обмелел и скотом, и хлебом.

Андрон подошел к Безуглому

— А мое мление такое, коль хрестьянину плохо, то и власти не сладко. Кака бы власть ни была, а должна она подмогнуть хрестьянину. Не о себе, Федорыч, думам, о восударстве болеем.

Он сел на обрубок рядом с Безуглым.

— Хто у нас будет работать? Нижные коммунисты одно только званье имеют да билеты в карманах трут. В высшем управлении верно есть люди с правильным понятием. Но ково могут сделать верхи без низов?

Андрон плечом прилип к плечу Безуглого.

— Читал я в газетке речу вашего большого коммуниста. Фамилию вот только не вспомню... не то Калбаскин не то Сырков... золотые слова.

Андрон загнул на левой руке толстый кривой мизинец.

— Слово перво — накопляйте в добрый час.

Он загнул безымянный палец.

— Слово второе — к Тельбесу поедем на корове.

В глазах у Андрона играли липкие медовые блестки.

— На чьей корове Сырков-Колбаскин етот собирался ехать? На моей. Кому говорил — накопляйте? Мне. Дурак, он, думаешь, не понимал, што шпане копить нековобо и ехать не на ком. Он линию умственную вел на крепково, настоящего хозяина

Безуглый дернулся всем телом, вскочил. Андрон хвалил коммуниста. Он, конечно, помнил его фамилию и перевирал нарочно для издевки. Андрон поднялся следом за ним, стукнул себя кулаком в грудь.

— Хто больше всех давал восударству хлеба? Хто куль



турный хозяин? Ково первого премировало областное ЗУ и сибирское ЗУ? Чей патрет был напечатан в газетах?

Он почти кричал.

— Меня наградили земельные органы власти. Меня пропечатали и постановили в пример другим. Я завсегда шел с ласковыми глазами навстречу нашему хрестьянскому советскому правительству. Пошто жа теперя на меня удавку ладят?

Они стояли друг против друга со стиснутыми зубами. У обоих кривились губы.

— Мы корчуем последние корни капитализма в деревне. Понятно?

— Чо же вы зорить нас, хрестьян, будете?

— Кулаков будем ограничивать.

Андрон передразнил Безутлого.

— Обграничивать, ну и обграничивайте на свою шею. На пароходе ехал, видал, поди, сколь хлеба на пристанях навалено?

Он сжал кулаки, удержал в них свою ярость. Глаза его опять стали лживыми и ласковыми.

— Верь моему слову, от тебя, старый ты мне дружок, не таюсь, все со скрытых пашен. На гумаге мы посев увеличили, на фахте сократили. Ране, скажем, иной сеял сорок десятин, показывал пятнадцать. Нонче он посеял двадцать и показал двадцать. По-вашему — увеличение, а по-нашему — уменьшение, потому хрестьянин хлеб со скрытого поля не сам ел, а на базар вез. Вы думаете, мужик будет дожидать, пока к нему на двор придут лишки считать? Он сам свое хозяйство расфуркат.

Андрон помолчал.

— Чо же это будет? Я нарушу хозяйство, другой нарушит. Каково восударству-то придется?

Он снова сел.

— Може, одумаетесь?

— Нет, не одумаемся
— А мужики все надеются.
— Напрасно.
— И меня зорить будешь?
— Конечно буду.

Андрон осмотрел Безуглого с ног до головы.

— Двадцать первый год забыл? Неминучая тебе смерть, кабы не я. Ужели не поимел Андрон Морев заслуги перед тобой? Сказывай, враг я тебе иль друг?

— Вы — кулак.

Андрон развел руками, опустил голову.

— Виноват я перед вами, товарищи, много работал, много хлеба сдавал восударству. Бейте, завинен кругом.

— Никто вас бить не собирается, Андрон Агатимыч. Я вам многим обязан, может быть, даже жизнью, но. . . мы строим социализм.

Андрон спросил с ласковым удивлением.

— Федорыч, ужели ты веришь в экую неумность?

Он не дал ему ответить

— Отчего же это в кумынах все широким кверху выходит? Ведь были в ей наши мужики, все имущество утопили, вышли наги и босы и сызнова нажили спроть всей кумыны вдесятеро.

Андрон замахал на Безуглого обеими руками.

— Обожди, Федорыч, послушай. Мы — люди темные и так располагам, што от насильства у вас все не ладится. Собака — тварь животная, и та ласку обожает.

Безуглый громко плюнул.

— Вам, Иван Федорыч, — плевки, а нам — шлепки. В двадцать первом годе нас, ровно скот, загоняли в кумыну. Вот Нефед Никифорыч и другие партизаны, и добрые партейцы не захотели, потому за имя никакой провинки перед советской властью не было, их не застращаешь. Ну, а которы у Кольчака служили, иль просто

богатые за свои головы опасились, те все взошли. Писались без отказу, потому раз начальство велит и сами про себя знали, што виноваты. Одно только просили объявить, на сколькой срок наказанье назначено. Сроку никому не дали и согнали всех в бараки. Присидатели, сикритаришки, разное кумынное начальство сидели в отдельных избах и паек себе особый брали, на работу не ходили. Жизня была очень печальная. Народ страждал в надежде на манафест. Дай бог царство небесное Владимиру Ильичу, выдумал он нову политику.

— Разве и вы в коммуне были?

Андрон спрятал в бороде самодовольную усмешку.

— Я откупился.

— Неужели все коммуны были так созданы?

— Пошто, иные беднота организавывала без принуки. Понятия только у их никакого не было. Они думали, што зайдут в кумыну и все будет, и работать никому не надо. Лежи с бабой и жуй пайку. Видали мы всяки ваши хитрушки-мудрушки. В осьмнадцатом годе беглые от голоду из Петрограду рабочие первый почин сделали. Ничего у них не вышло, никакого согласья и распорядку не было. Один пашет, трое пузо на солнце греют, пятеро ложками котел мерют. Держались они, покудов деньжонки да разное барахлишко разматывали, потом разошлись, и тех хрестьяне поймали и сдали белым на расстрел.

Андрон сверху вниз посмотрел на Безуглого.

— А ты, Федорыч, говоришь — сициализьм. Он товда будет, ковда обману не будет, а обман товда унистожиться, ковда кажный станет столь хитер, што ни ево никто обмануть не сможет, ни он никого. Пока же выходит по-нашему: не обманешь, не соврешь, — веку не проживешь.

Безуглый назвал ряд коммун, которые существовали с двадцатого года и имели большое хозяйство. Андрон кивал головой, почесывал зад, зевал.

— Конешно вам с горы виднея, мы ково знам, деревня.

Безуглый отошел от огня.

Ночью вызвездило. В шалаш лез холодный ветер. Безуглый ежился во сне, жался к горячей спине Андрона. Костер опять горел до утра.

Андрон остановился, вытер со лба пот, показал на следы.

— Ровно имя хто ворота растворил, набродили, как скотина.

Помольцев снял шапку. Голова у него дымилась.

— Дивно следу.

Он развел руками.

— А зверишек и духу нет.

Безуглый наступил на скользкий камень, споткнулся. Из-под ног у него с треском вылетела пара белых куропаток. В первое мгновение он принял их за два комка снега. Самец летел сзади самки, подгонял ее тревожным, резким криком.

«Ху-ху-ху, ху-ху».

Птицы исчезли из глаз охотников далеко у кромки вечных льдов. Там дальнозоркий Андрон первый заметил два темных живых пятна.

— Федорыч, давай скорея бинокль.

Помольцев закрыл заслезившиеся глаза.

— Зря, Агатимыч, сумняешься. На факте видать, што звери.

Андрон быстро пошел. Помольцев зашагал за ним. Безуглый вытащил из футляра бинокль и тут же ткнул его обратно, побежал за Андроном.

Медведи бродили по льду. Охотники легли. Андрон решил, что звери двигаются в их сторону. Он установил на сошки свою огромную кремневку.

— Мерена бескопытные, сами на пулю лезут.

Безутлый забыл свои длинные ноги и свою неумелость. Он, припав к земле и затаив дыхание, следил за зверями, сам сильный и ловкий, как зверь. С ним рядом лежали его товарищи — искусные охотники. Они поднялись сюда на землю, отягощенную льдами, чтобы встать на четвереньки и вступить в бой с четвероногими. Внизу, в пещерах у костров, женщины и дети ждали их возвращения и мяса. Только мгновениями запах ружейного масла напоминал Безутлому, что он — человек, в руках которого машина чудовищной силы. Он до боли в пальцах сжимал винтовку.

Звери вставали на задние ноги, вертели головами, смотрели на небо. Они полгода пролежали в темных берлогах. Запах талой земли был вкусен. Они жадно надували свои легочные мешки, хлопали себя по бокам передними лапами. Из шерсти у них летела зимняя ночная пыль.

Звери они или волосатые люди?

Один хлопнулся на спину, схватил кусок льда и заиграл им, как мячом. Другой сел на зад, скатился с обледенелого утеса, перекувыркнулся через голову, снова забрался наверх и снова съехал вниз, как озорник-мальчишка с горки.

Охотников душил смех. Ружья тряслись у них в руках.

— Исхуду иху боль, чо вытворяют

Андрон смеялся и сердился.

— Нажрались, залягут теперя, испрожабь их.

Он стал на колени, осмотрелся.

— С полночной стороны морок идет.

Медведь швырнул льдину, постучал лапой об лапу, перевернулся на брюхо, закрыл глаза. Катальщик забрался на утес и лег на нем. На боках у него белели большие снежные пятна.

— Скрадать нада скорея, не ровен час задурит погода, почнет крутить с мыска на мысок, тогда к зверю не по-

дойти. Нефед Никифорович, Иван Федорыч, со восподом полезайте к имя, а я маячить вам буду отсюдов.

Помольцев и Безуглый спустились в широкую трещину. Андрон встал на высокий камень, как капитан на мостик, чтобы следить за зверями и управлять передвижением стрелков

Ветер рассказал медведям об охотниках. Медведи встали с неохотой, но побежали быстрым, широким, неуклюжим галопом. Медвежья жизнь в последнее время плохо пахла. Медведи стали похожи на зайцев.

Охотники вылезли из трещины к пустым утесам. Безуглый в бинокль осмотрел южные склоны с зелеными пятнами первой травы. В круглые стекла сразу попал большой медведь. Он пробирался рыхлым снегом, скорее нырял, чем шел, и очень напоминал тюленя. На него налетела белая волна лавины. Медведь повернулся к ней мордой и лег. Его захлестнуло, но не снесло. Он исчез в снегу и вынырнул с ловкостью настоящего морского зверя.

Охотники нашли место, где медведя захватила лавина. Камни и снег были в крови. От огромного напряжения у зверя на лапах лопнула кожа. Помольцев обрадованно показал Безуглому красные пятна.

— Зверь оследился, сыщем в одночасье.

Они пошли по следу.

Зверь, которого преследовали охотники, был черен, силен и острозуб. Он пришел с осинового мыса, от старой лиственницы, на которой из года в год медведи вели свои брачные розыскные записи. Шерсть на загривке у него приподнималась, когда он обнюхивал на дереве свежие следы когтей. Он встал на задние лапы, вытянулся во весь рост и с силой скребнул кору лиственницы всеми своими десятью крючьями. По росту он был вторым. Широкие борозды выше его отметины, ниже и почти наравне

с ней были не страшны. По запаху он знал давно всех медведей, сделавших затесы. Самый большой из них — старик, неповоротливый, с тупыми когтями и зубами. Медведи меньше его недавно потеряли молочные зубы, а новые у них были малы, как у щенят. Равный ему по возрасту и по силе не досчитывался одного клыка (жеребец выбил кованым копытом), кроме того, у него плохо действовала левая передняя лапа (была в капкане). Около лиственницы шла хорошо натоптанная тропа. На нее веснами медведи-самцы выходили искать самок. На тропе он нашел следы знакомой медведицы. Зимой она спала недалеко от его берлоги. Он шел последним. Другие были уже с ней. Лавина не задержала зверя. На пораненые лапы он не обратил никакого внимания.

Медведица и семь медведей ходили на круглой поляне. Медведи вставали на дыбы, шутливо боролись, сталкивали друг друга с небольших утесов. Один светлобурый угрюмый самец держался ближе всех к самке. Он не принимал участия в общей возне. Черный зверь рысью подбежал к медведице. Светлобурый зарычал. Черный оскалил зубы и молча ударил его по уху правой лапой, по морде левой и еще раз правой по шее. Светлобурый отошел в сторону. Нос у него был разодран в кровь. Черный накинулся на толстого, серого старика, вырвал у него из бока горсть шерсти с салом. Мимоходом он стукнул по затылку темного небольшого медведя со щенячьими зубами. Лапы зверя топорами обрушивались на черепа, на ребра, на хребты соперников. Он, самый черный, оказался и самым сильным. Он занял первое место около самки. Медведица легла на теплый камень. Черный лег рядом. Остальные по ветру друг за другом в затылок. Самцы лежали неспокойно. Они поднимали головы, привставали, ворчали. Их волновал сладостный запах самки.

Медведи жили в одиночку. Они сходились только раз

в году, выбирали сильного, отдавали ему самку. Самки тогда пахли сильнее трав и цветов. Самцы забывали голод, кровь набухала в их жилах, как вода в ручьях. Они свирепели и лезли через обледенелые скалы, переплывали реки, продирались сквозь таежные заросли. Самцы находили самок после долгих и трудных поисков. Самка отдавалась тому самцу, который около нее преодолевал последнее препятствие — когти и зубы всех соперников.

Медведица поднялась, расставила задние ноги, оглянулась. Медведи вскочили с ревом. Зубы мелькнули, как белые ножи. Звери сшиблись в одну бурую кучу. Из-под ног у них полетели камни, земля, снег, шерсть.

Безуглый с Помольцевым взбирались на гору. Андрон стоял «на гляденьи», жадными глазами следил за медведями. Ему не нравилось, что охотники шли медленно. Он сжимал кулаки, шептал:

— Скорея, скорея...

Охотники слышали рев, хорканье, сопенье, видели камни, кувыркавшиеся с вершины. У обоих поднимались волосы. Оба часто поправляли шапки. Итти было страшно. На горизонте от темных туч свешивались на землю косые полосы дождя. Тучи, как древние длинноволосые звери на толстых ногах, медленно волокли над горами свои водянистые животы, надвигались на охотников. За камнями, за утесами шевелились тени. Безуглому и облака, и горы казались живыми зверями. Звери шли на него, ревели, земля трещала под их тяжелыми лапами, осыпалась большими кусками. Безуглый с испугом думал, что он должен будет сейчас вмешаться в дела огромного звериного мира, должен будет останавливать движение и рев стихии. Он — один слабый человек. Охотники малодушно замедлили шаги.

Андрон скрипел зубами, стонал.

— Здымайтесь, рядом звери. Упустите. Уйдут,

Медведи кончили драку. Они стояли длинным рядом. Морды, шеи, плечи у них были окровавлены, языки высунуты. Звери дышали тяжко и жарко. Самка немного отошла от самцов и снова призывно оглянулась. Черный бросился на нее, навалился ей на спину всей грудью и животом. Она устойчивее расставила ноги. Победитель ревел и устрашая, и торжествуя. Остальные ходили около, содрогались, яростно ворчали.

Безуглый преодолел страх, открыл у винтовки предохранитель, мысленно сказал себе:

— Командир, смелее!

Он шагнул вперед. Ему навстречу поднялись волосатые лапы туч. Тучи кувыркались с голубых полян неба на горы, вели первый весенний брачный бой.

Андрон вцепился себе обеими руками в бороду.

— Стреляйте самою.

Безуглый увидел медведей. Они топтались между туч. Они были велики, толсты и лохматы. На оскаленных мордах у них металось белое пламя зубов.

Охотники почти одновременно подняли ружья. Выстрелы обрушились на зверей длинными раскаленными докрасна прутьями. Медведица ткнулась носом в землю. Светлобурый свалился на бок, захрипел. Помольцев судорожно дергал ржавый затвор берданки. У него завязла раздутая гильза. Молодые медведи зайцами скакали в разные стороны. Одноклыкий кинулся на охотников. Помольцев бросил ружье, схватился за нож. Безуглый поймал на мушку короткоухую голову, нажал гашетку. Медведь бессильно лег. Безуглый был спокоен. Он ощущал напористую, радостную силу во всем теле. Помольцев поднял и зарядил берданку.

Черный остервенело теребил самку за загривок. Охотники не видели ни его, ни убитой медведицы — звери были за высоким камнем. Самка лежала без движения. Он

рванул ее когтями. Она рыхло перевалилась на спину. Он разорвал у нее живот и, мгновенно опьянев от крови, стал пожирать горячие внутренности. Зверь давился.

Охотники оглянулись на Андрона. Он стоял на четвереньках. Они насторожились, услышали громкое чавканье. Помольцев пошел на звук. Черный рявкнул. Помольцев вздрогнул и в упор выстрелил в него, не поднимая ружья к плечу. Пуля оторвала у черного средний палец на правой передней лапе. Безуглый заторопился и промахнулся. Медведь шарахнулся от стрелков за утес.

Андрон взволнованно тыкал рукой, направлял охотников на замеченного им зверя и не видел, что черный в сотне шагов бежал прямо к нему. Помольцев замахал Андрону, закричал:

— Задерет! Гляди!

Андрон не слышал, не понимал. Помольцев с тоской взглянул на Безуглого:

— Федорыч, може, твоя донесет?

Безуглый подумал, что его винтовка бьет на триста метров. До Андрона верных четыреста. Впрочем думать было некогда. Черный свалил охотника, ломал у него кремневку. Безуглый поднял прицельный щиток и наугад выстрелил. Зверь соскочил с Андрона и скрылся. Андрон лежал неподвижно. Безуглый встревоженно вскрикнул:

— Я в Андрона попал?

Помольцев напряженно вглядывался, молчал. Безуглый дрожал. Оба были бледны.

— Неужели он успел его задрать?..

Помольцев побежал. Безуглый бросился за ним.

С Андроном они встретились недалеко от убитых медведей. Он держал в руках ствол и обломок ложи. Шабур и рубаха его были изорваны, болтались длинными лоскутами. Оголенная шерстистая грудь отливала золотом. На ней краснели четыре неглубоких царапины,

— Поиграл со мной зверишка, трафь его в копалку!

Андрон говорил немного сконфуженно, точно извинялся за свою оплошность.

— Палец ему середний хто-то из вас отстрелил. Он на меня лапой-то ранетой замахнулся, ровно нечистик вилами. Навалился, язва, из роту душина...

Андрон плюнул.

— По полому месту угадал ты, Федорыч. Пуля аж сгукала у ево в ребрах.

Он протянул Безуглому руку, попытался улыбнуться.

— Настоящий ты мне товарищ и друг.

Андрон задергал губами, заморгал.

— Одноментом задрал бы меня зверь...

Он устало сел. Помольцев вздыхал, молчал. Безуглый отвернулся и долго сосредоточенно разглядывал свою винтовку

Убитые медведи лежали темными круглыми обрубками. Безуглый садился на них верхом, теребил их за уши, за лапы, мерял длину когтей, разглядывал густоту шерсти. Он был очень серьезен и похож на ребенка, занятого интересными игрушками. Андрон, не отрываясь от работы, поглядывал на него с ласковой усмешкой. Он сидел полуголый и чинил свою рубаху. Помольцев старательно точил ножи.

Безуглый обрадовался, когда Андрон встал, оделся, засучил рукава. Помольцев отложил в сторону точильный брусок, спросил:

— Беловать будем?

Андрон посмотрел на солнце.

— Однако время.

Безуглый начал перевертывать одноклыкого на спину. Андрон остановил.

— Помешкай, Федорыч, я сперва сам надрез сделаю.

Он быстро, как опытный закройщик материю, раскроил шкуру зверя на груди, на брюхе и на лапах. У всех медведей шкуры с внутренной стороны были в рубцах от когтей, зубов и пуль. У светлобурого между двух сломанных и неправильно сросшихся ребер завяз многолетний засаленный комок свинца. Охотники неторопливо работали ножами. Для них каждый кусок шкуры раскрывался, как страница звериной летописи. Они иногда вонзали свои ножи в туши, определяли толщину мяса и сала. Медведи были мясисты и жирны. Ножи погружались до рукояток. Охотники сладко жмурились, качали головами. Андрон поднял наравне со своим лицом красное сердце одноклыкого.

— Видал, Федорыч, серсе-то у него маненько не с мою голову? Гляди, машина кака, ни пятнышка, ни полосочки, ровно из чурки выточено. С эдакой колотушкой он на любую гору скачет без задыху.

Капля крови крупной, темной вишней упала Андрону на рубаху, скользнула вниз. След ее вспыхнул, как царапина. Андрон положил сердце, стал вытягивать кишки.

— Меряй, не меряй: тридцать два аршина у кажного. Очень они для вожжей способны. На морозе не мерзнут.

Андрон разнимал медведя на куски и, как учитель ученику, объяснял Безутлому:

— Ты слыхивал ковда, што главный струмент у нево костяной?

Андрон отрезал и показал ему фалл зверя. Он постучал по нему ножом.

Безутлый был искренне уверен, что убил медведей самых огромных, свирепых и жирных. Никто конечно ранее него не убивал таких. Он вышел на борьбу с ними совершенно один. Разве можно считать Помольцева с его

ржавой берданкой? Безуглый с трудом скрывал свою радость. Хорошо бы сюда собрать своих друзей и товарищей. Он всем позволит посмотреть и потрогать медвежьи зубы и когти. Он каждому даст мяса.

Мясо и сало охотники таскали кусками к пещере, в которой решили заночевать. Безуглый гнулся под тяжестью медвежьих окороков. Он шагал по камням сейчас так же, как и сто тысяч лет тому назад. Он нес теплую кровавую добычу самке и детенышам. Он, волосатый, пещерный охотник, знал, что человеку хорошо, когда у него много мяса. Он скалил зубы. Он улыбался.

Охотники были утомлены и голодны. У костра они сидели молча. В котле клокотала седая пена. Кусок грудинки, укрепленный на двух шомполах, шипел, капал в огонь жиром. Андрон заговорил, когда его ложка стукнулась о дно опорожненной посудины.

— Человеку от бога положена в пищу тварь копытная. Я же, грешник, оскверняю брюхо свое зверем когтистым.

Помольцев и Безуглый подавились супом. Андрон посмотрел на них, захохотал, отрезал себе толстый пласт душистого медвежьего шашлыка.

Глаза охотников суживались, рты широко раскрывались. Ели они много. Сытые сидели потом, полуразвалившись. Седла заменяли им спинки кресел. Они отдались любимому занятию всех охотников — беспорядочным рассказам о встречах со зверями и птицами, воспоминаниям. Все виденное на охотах извергалось ими из глубин памяти, может быть, в десятый раз и заново обсуждалось с медлительностью и смакованием.

Помольцев пытался рассказать о себе.

— Этта стрелил я бельчонку...

Его остановил Безуглый.

— Нефед Никифорыч, вы лучше расскажите, как у вас патрон завяз, когда одноклыкий к нам кинулся.

Безуглому хотелось, чтобы охотники еще раз поговорили о его смелости и искусстве в стрельбе. Помольцев и Андрон стали вспоминать утреннюю охоту. Они разобрали обстановку, в которой произошла встреча с медведями, выяснили достоинства обоих стрелков, отдали должное твердости Безуглого и особенно долго задержались на оценке его дальнобойной винтовки. Много времени ушло на рассказы о том, что каждый во время охоты сделал, подумал, сказал, крикнул. Андрон закончил всестороннее обсуждение вопроса обращением к Безуглому:

— Можно с тобой, Федорыч, зверя промышлять, сотоварищ ты правильный.

Охотники поднялись размять ноги. Помольцев дернул плечами, топнул. Андрон мотнул головой. Тела их закачались из стороны в сторону. Охотники, как крылья, широко раскинули руки, стали медленно приплясывать. Оба тянули бессловесный припев, похожий на бульканье тетеревов.

Лё, лё, лё!

Безуглый встал в круг, раскрылил руки. Ему хотелось петь о медведях, об их мясе и шкурах. Он выкрикнул:

Лё, лё, лё!

Охотники сильнее замахали руками. Пляска их у огня была проста и яростна, как пляска птиц весной.

Спать легли в пещере. Шкуры пахли сырой кровью. Длинная шерсть на них была пушиста и тепла. Безуглый голый бродил по песчаному берегу моря, прятался среди валунов, каменным топором бил медведей, выламывал у них костяные фаллы. Фаллы были похожи на длинные молочно-розовые жемчужины. Он нанизал их на

сухую жилу оленя и отнес в пещеру своей густоволосой самке. Она надела ожерелье. Глаза у нее раскрылись черными крыльями бабочки. Он посадил ее на мохнатое теплое ложе.

Безуглый проснулся, потрясенный сильнейшим желанием. Во рту, как след поцелуя, был солоноватый вкус крови. Под шкурой стало жарко. Безуглый выполз к костру. Горы лежали, белые и голые. Впадины их темнели круглыми кратерами мертвых вулканов. Голубые языки ледников висели над чернотой ущелий. Охотник долго смотрел на небо. Над его головой текли синие реки вселенной. Вечность была занята обычным своим делом — переливала из сосуда в сосуд. Недалеко на озере ветер гонял льдины, бил их о берега. Льдины рассыпались со звоном. В пещере громко капала вода. Звон льда напоминал переливчатую игру курантов. Стук воды был четок и мерен, как стук маятника. Безуглый думал, что ход часов вечности неумолимо точен, они с одинаковым бесстрастием отсчитывают сроки жизни целых миров и каждой ничтожной козявки. Он взял себя правой рукой за левую. Кровь двигалась по жилам размеренными толчками. Он знал, — с годами бег ее будет терять свою правильность, она станет стыть, портиться. Две круглых пружины кровяных часов рано или поздно сломаются. Безуглый не чувствовал страха перед неизбежным концом. Он был слишком здоров и сыт. Он посмотрел на большие, белые от жира куски медвежьего мяса, ухмыльнулся и громко рыгнул.

Алтайцы сидели в седлах. Русские вьючили лошадей. Охота была удачной. Четыре медвежьих шкуры — у Енмековых. Три — у Безуглого с товарищами. Переметные кожаные сумы раздулись от сала и мяса.

Горы до облаков были затоплены прозрачной водой.

Облака покачивались на ней, как белые льдины. Вода текла по глазам охотников. Рукава и кулаки не помогали. Охотники ехали по дну моря. Шумы огромного человеческого мира не доходили до обледенелых подводных хребтов. В них была тишина. Безуглый слышал стук своего сердца. Копыта лошадей на донном льду позванивали, как колокольчики. В суминах густо хлюпал медвежий жир.

В сумерки охотники увидели знакомые аилы. Издали очертания стойбища казались рисунком дикаря на скале. Безуглый теперь внимательно разглядел нищенские аилы, ничтожные табуны скота, узкие полосы пашен. На межах лежали кучи камней. Горные земледельцы складывали их годами, расчищая неудобные поля. Деревья около кочевья стояли зарезанные, с белой оголенной древесиной. Кора с них была содрана широкими кольцами от корня на высоту человеческого роста. Ею кочевники покрывали свои жалкие жилища. Летовки и зимовки теснились в одной щели. Алтайцы кочевали на полкилометра в одну сторону, на полкилометра — в другую, на километр — вперед и на километр — назад.

У юрт Енмековых охотники съехались с Анчи и его гостями. Они возвращались с камлания — пятого по счету. Пять кобылиц — лучших лошадей стойбища — были разодраны в жертву Ульгеню. В юрте все сели вокруг очага, закурили. Андрон шепнул Безуглому:

— Живут по щелям люди тоже, прости восподи. Заткнут задницу пяткой и сидят цельный день, табак жгут. Тут и вся ихная занятия.

У Безуглого дернулись губы. Он отвернулся от Андрона.

Длинные, окованные медью трубки сопели. Ни гости, ни хозяева не начинали разговора. Люди должны помолчать и подумать.

Первым поднялся хозяин — Анчи. Он вылил в очаг туяс жертвенного лошадиного жира. Дым толстым нефтяным столбом встал над юртой, уперся в синий потолок неба. Звезды в тяжелой копоти метались мелкими искрами костра, зажженного на весь мир. Анчи стоял как старший над всеми людьми и всем равный. Он роздал поровну каждому мясо, добытое на охоте его сыновьями. Никто не был обойден: ни старик, ни ребенок, ни сильный, ни слабый. Охотник Анчи знал, что тайга — мать людям, когда они при разделе дичи — братья. Люди будут счастливы, мясо никогда не переведется в их котлах, если они смогут справедливо делить свою добычу. Алтайцы отходили от Анчи с полными руками. В растопыренных пальцах куски сырой медвежатины висели стручками красного перца.

Тойлонг молча наливала гостям чегень. Безутлый отхлебывал из деревянной чашки кислую молочную жижу и слушал Анчи. Алтаец мог бы и не говорить. Безуглый сам знал все. Он думал, что рассказ Анчи повторит и негр, и индеец, и индус. В своих колониях русские, англичане, французы, немцы хозяйничали, как родные братья-разбойники. В Африке, в Америке, на островах Тихого океана, в Туркестане и в Сибири у них было одно оружие — пуля, крест и деньги. Безутлому дома и фабрики сибирских купцов показались кораблями рабовладельцев. Вражеской эскадрой развернулись они вдоль хребта Алтая. С них высадились и бросились на страну отряды завоевателей. Переселенец шел с топором. Он подсек охотничье хозяйство алтайца. Купец наехал с грошевыми безделушками. Он за пятачковое зеркальце брал быка, за нитку стеклянных бус — коня. Туземец сразу оказался у него в кабальном неоплатном долгу. Поп пер с проповедью учения Христа. Крест на его груди был для язычника страшнее ножа грабителя.

Лучшие плодороднейшие пахотные и пастбищные земли были захвачены монастырями и духовными миссиями. Войны — мировая и гражданская — расхитили последний скот и лошадей. Анчи в одном не прав: не все русские — врати алтайцам. Революция прогнала попов. Монастыри теперь — школы. В них учатся дети алтайцев. Революция вернула алтайцам земли, отнятые у них белым царем и его слугами. Алтайцы снова стали хозяевами своей страны. Однако большевики, алтайцы и русские, дрались с белогвардейцами, алтайцами и русскими, не для того, чтобы в горах вместо чужих купцов, кулаков и попов появились свои баи и ярлыкчи...

Аргамай Кудачинов перебирал пальцами редкие седые волосы своей бороденки. Он решительно вмешался в разговор хозяина с гостем. Он ведь давно говорил, что жить надо по-новому. Он еще в двадцать седьмом году хотел организовать колхоз. Все соглашались. Его выбирали председателем. Он — старый, опытный и большой скотовод. Он не понимает, почему облисполком не разрешил живущим в Крутой Щели объединиться. Аргамай Кудачинов много слышал о справедливом коммунисте Безуглом. Слава его на Алтае бела, как вершина Белухи. Может быть, он поможет алтайцам в трудном деле?

Лицо Аргамая Кудачинова, круглое и плоское, напоминало желтую деревянную тарелку. Глаза и рот были пятнами орнамента, положенного черной и малиновой красками. Он сидел в грязном, засаленном синем халате и в вытертой рыжей высокой шапке из лисьих лапок. Аргамай Кудачинов при советской власти — полный бедняк. Ранее ни он, ни батраки-пастухи не знали, сколько у него скота. Он был коннозаводчиком двора Николая Второго, ездил в Германию и в Англию. Безуглый сказал, что в Улале решили правильно. Баи не могут быть в колхозах.

Темирбаш согласна с Безуглым. Алтайцам не нужны баи. Без них каждый будет богатым. Отец говорил: Алтай беден. Неверно. Земля сильна. Ее надо положить себе под ноги, как убитого марала. Надо распороть ей грудь, вынуть из нее жир — золото — и затвердевшую кровь — руду. Надо распилить ее драгоценные рога — горы. Отец жалел: не стало коней. Есть кони. Езуй Тантыбаров оденет железобетонные хомуты на миллионы неезженных белогривых скакунов. Они будут вертеть колеса машин в Улале, в Риддере, в Зыряновском руднике

Аргамай и его родственники закрывали рты рукавами. Они обижены. Девчонка вступила в разговор с мужчинами. Она учила старика. Аргамай не ушел потому только, что не хотел оскорблять Анчи, — покидать его юрту в то время, когда в ней поставлен на огонь котел с аракой. Гордость отца заставила Анчи забыть обычаи своего народа. Его дочь говорила умные слова, которым она научилась в большом русском городе. Анчи не остановил Темирбаш.

Дымящиеся куски вареного мяса и чашки горячего вина положили конец спорам. Безуглому был подан первый самый жирный и почетный кусок грудинки. Он отрезал от него немного и передал соседу Мампыю, Мампый — Аргамаю, Аргамай — Андрону, Андрон — Анчи. Кусок обошел всех мужчин в юрте. Тойлонг непрерывно подливала им араку. Безуглый улыбался каждый раз, как слышал позвякивание ключей на ее поясе. Он пьянел. Он неожиданно подумал, что папа римский похож на жену Анчи. Папа ведь тоже ходит в громоздкой шапке, в неуклюжем длиннополом халате. У него такие же ключи от рая, как у этой бедной алтайки от сундуков. Безуглый уткнулся лицом себе в колени. Его спина тряслась от смеха. Он увидел Рим, как большой костер в ночном небе. Над ним торчала черная рубаха Муссолини. «Фа-

шизм спасет мир». Из-за спины диктатора выглядывала рожа Цаппи. Труп Мальмгрема был распростерт на льду, как красный крест. Ничего у них нет. Их путь — от человека к зверю. Актеры с ключами из бутафории мирового театра.

Собака долго и жадно глодала кость над ухом Безуглого. Безуглый проснулся. Над ним с костью в зубах сидела старуха Иткоден. На юрту сыпался железный лом галопа. Всадник посадил коня на зад у самой двери и закричал на все стойбище:

— Есть новости!

В юрту влез письмоносец-кольцевик Санабас Тукешев. Он едва успел сесть к огню. Люди повисли у него на плечах. Газеты и письма вылетели из сумы белыми птицами, затрепыхались в руках счастливцев. Безуглый заметил почтовые штемпеля Москвы и Ленинграда. Дети, братья сестры писали из школ, с курсов, со службы.

Темирбаш развернула «Кызыл ойрот». В юрте стало тихо. Девушка читала с торжественной медлительностью. Мужчины подкладывали дрова в огонь и даже выходили за ними наружу. Мужчина может унизиться и взять на себя женскую работу, если женщина так хорошо читает.

Безуглый записал у себя в дневнике:

«К докладу о национальном возрождении Ойротии. До революции у алтайцев своей письменности не было».

Охотники спускались к Белым Ключам. От села навстречу им поднимался всадник в необыкновенной широкополой шляпе. В усах у Андрона шевельнулась снисходительная улыбка.

— Шалается, мужичонка праздный, камешки все насбирыват. Всюю избенку завалил, самому и лечь некуды.

Помольцев быстро обернулся.

— Напрасно так рассуждаете, Андрон Агатимыч, по мне товарищ Дитятин — человек очень умственный.

Дитятин подъехал, приподнял тяжелую кожаную шляпу. В кожу он был одет с головы до ног. Помольцев подал ему руку, спросил:

— На разгулку по научной линии отправились, Илья Евдокимыч?

Дитятин опустил голову.

— Горы слушать еду, Нефед Никифорович. Каждый год весной езжу.

Андрон бородой закрыл рот. Он смеялся. Дитятин поднял на него спокойные, большие, серые глаза.

— Андрон Агатимыч, разве вы не брали во внимание, что горы не есть мертвое вещество? Вы наверное неоднократно имели свободную возможность наблюдать, как с них сползают камни, валятся деревья?

— Где нам, товарищ Дитятин, мужикам необразованным, про камешки думать. Мы все о хлебе.

Андрон задрал бороду до глаз.

— Опасимся, как бы ученые голодом не замерли.

Безутлому Дитятин сказал о себе:

— Живу своим счастьем — разрисовываю дуги, опечки, пишу декорации, точу самопряхи.

Лошади начали заглядываться на гору. Охотники тоже подняли головы. Высоко над тропой они увидели медведя. Он стоял на голом утесе и, опустив башку, мотал ею из стороны в сторону. Андрон козырьком приложил к глазам руку.

— Однако это — мой дружок, который мял-то меня. Ишь тошнует, рана-то ево долит.

Андрон не ошибался. Наверху был беспалый черный зверь с простреленными боками. Он учуял охотников. Голова его остановилась. Снизу полз к нему ненавистный и страшный запах. Он круто повернулся и полез

в гору. Охотники не стали его преследовать. Они спешили домой. Дитятин опять поднял шляпу.

— Ну, будем знакомы.

Ветер сдирал с земли последние белые лохмотья снега. Земля, разгоряченная, потная, бесстыдная, лежала с оголенным черным брюхом. Она ждала сеятеля.

Андрон свернул с тропы на поле. Конь под ним сразу погрузился до колен, точно ступил в темную, густую воду. Андрон горестно вскрикнул:

— Пахарь пашню покинул! Земля пустует!

Безуглый привстал на стременах. Незасеянные черные полосы на зелени всходов показались ему следами громадного зверя. Ему опять, как на охоте, нехватило воздуха. Он поправил на плече ремень винтовки и сквозь стиснутые зубы сказал Андрону:

— Засеем

На своей пашне Андрон слез с коня, опустился на колени. Миллионы слабеньких зеленых ножек торчали из теплой утробы матери. Андрон бережно, как живот беременной женщины, щупал землю.

— Прет пашаничка, ровно хто толкат ее, хоть конем топчи, так в ту же пору. Погубит она меня, травка христова.

Он снизу вверх посмотрел на Безуглого.

— Федорыч, пошто у нас жизня какая-то дурная стала? Хозяин урожаю своему не рад. Ране думал — уродилось бы поболе, нонче думашь — посохло бы, градом побило бы, помха бы пала.

На нем лежала плотная тень Безуглого. Безуглый вместо глаз у него видел мертвые дыры глазниц.

Земля неожиданно содрогнулась под ногами охотников. Над Оградной горой возникла воронка грязного дыма. Скала, висевшая над Талицей, мелькнула крылом птицы и исчезла. На крутом боку горы появилась глубокая зазубрина. Взрыв гремел камнями в ущельях.

Безуглый показал плетью в сторону подорванной горы.

— На нас, Андрон Агатимыч, буржуи работают. Большевикам дорожки расчищают.

Андрон пробормотал:

— Агличаны... тракт..

Он думал:

«Воcподи, пошли ты погибель скорую на правителей наших неразумных»

В седло он залез с трудом. Ветер смял его бороду. Андрон уронил на гриву коня две темных, кипящих слезы.

Безуглый услышал свое имя. Из боковой долины шла к нему Анна. Безуглый бросил повод и лошадь. Анна остановилась, опустила глаза.

— Пойду, думаю, может встречу...

Она, точно защищаясь от него, подняла перед собой руки. Губы ее были горячи и влажны.

Безуглый босой, заспанный сидел на пороге. Голова у него напоминала растрепанный ветром сноп пшеницы. Он обеими руками приминал свои упрямые вихры. Анна стояла спиной к нему у кухонного стола. На столе, на подоконниках и на лавке были расставлены листы с белыми сырыми шаньгами. Анна круглой деревянной ложкой накладывала на шаньги сметану. В печи стреляли сухие еловые дрова. Огненные зайцы прыгали на тесте и на голой до локтя руке женщины. Безуглый через плечи Анны видел в верхней половине окна раскаленный полукруг солнца. Солнце было похоже на пылающее чело русской печи. Снежные вершины вспучивались пышными шаньгами в розовых пятнах печных огней. Ложка Анны поднималась выше гор. Безуглому казалось, что Анна мажет сметаной горы. Он подошел к ней сзади, обнял. Его руки хватнули ее за полные груди, спустились ниже к

крутым бедрам. Анна широко потянула ноздрями воздух
— Иван Федорыч, сдурел? Ночь-то тебе коротка была?

Она взяла со стола решето и, не оборачиваясь, надела его ему на голову. Безуглый чихнул. Мучная пыль попала ему в нос, в глаза, запачкала щеки. Он засмеялся, сбросил с головы деревянную шляпу, вышел из избы.

На заднем дворе Безуглый увидел серого коня Анны. Серко стоял, расставив ноги и приподняв хвост. Он с громом извергал помет и мочился. Безуглый снимал пояс, смотрел на могучее тело коня, на обильную, шумную его струю и думал: «Далеко мне до тебя, дружок, далеконько».

Конь подошел к жердяным воротцам, заржал, скосил на Безуглого свой выпуклый темный глаз. Безуглый вытащил из ворот две верхних жерди. Конь перескочил через ограду, рысью побежал к реке.

Безуглый, выходя из дому, не заметил у крыльца маленькую, сухонькую старушку в черном платке. Она чинила растянутую на изгороди рыбачью сеть. Он столкнулся с ней лицом к лицу, возвращаясь с заднего двора. На плече у старушки сидел сизый золотоголовый петух. Безуглый остановился. Петух захлопал крыльями. Старушка поклонилась и сказала:

— За петушка-то извините меня, Иван Федорович, стара стала, утрами просыпаю, вот и завела будильничек.

Она подала ему руку.

— Анфия Алексеевна Пряничникова, а попросту бабушка Анфя. Слыхали от Анны Антоновны?

Безуглый ничего не знал об Анфии Алексеевне. Он прошел в дом. Анна объяснила ему:

— Заходит она ко мне. Когда неделю проживет, когда и поболе. За хозяйством присматривает, за Никитой. Думаю, не объест она меня. Еда-то ее в семье незаметна. Никита до ее сказок страсть охоч. Все около нее трется. От соседей иной раз ребятишек наберется десяток цель-

ный. Век свой она в чужих людях. Родова-то ее давно начисто перемерла.

Анна загремела заслонкой, заглянула в печь.

— Муж у ней политик был, только не нашей партии. Она с им при царской власти все по ссылкам ездила. В остроге он и зачах, до германской войны еще однако.

Безуглый передернул плечами. Он вспомнил свою сырую камеру, кандалы. Ему не захотелось говорить с Анной. Он опять вышел на крыльцо. Никита соскочил с полатей, выбежал за ним следом...

Тамбовской губернии помещику Отрыганьеву понравилась пестрая борзая сука его соседа, помещика Красменева. Дед Безуглого по матери, крепостной крестьянин Отрыганьева и лучший его садовник, был отдан Красменеву в обмен на собаку. За дедом и его родом утвердилась уличная фамилия Собакиных.

После падения крепостного права дед Алексей женился и посадил за своей избой пять яблонь. Он стал сажать их каждый год. Его сыновья селились с ним рядом, загораживали свои сады. Внуки шли за дедом след в след — начинали с посадки плодовых деревьев. Собакины расселились на половину села Отрадного. Отрадное и в уездном городе и в окрестных деревнях перекрестили в Собаковку.

Отец Безуглого не удержался на узкой полосе чернозема. Надел свой сдал в аренду кулаку и ушел бурлаком на Волгу. Жизнь он раскидал по кабакам и публичным домам. Умер тридцати лет — пьяный замерз на крыльце винной лавки. Иван и Федор росли с матерью. Мать стирала белье на помещиков Красменевых. В деревне болтали, что у нее и до замужества и после ухода мужа на Волгу была тайная любовь с молодым барином, студентом Глебом, и что старшему ее сыну Ивану надо

бы носить фамилию своего настоящего отца, помещика Красменева. После смерти мужа Дарья Безуглая с обоими сыновьями уехала в уездный город. Вдову взял к себе на квартиру брат покойного Яков — слесарь железнодорожного депо. Мать по настоянию дяди и с его помощью отдала сыновей в гимназию. Дети не понимали, почему она прятала от них заплаканные глаза и расстиранные в кровь руки

В Собаковке Иван бывал наездом. Однажды болтун и пьянчужка Сидор Кривошеев обругал Безуглого барчуком и очень подробно объяснил ему, почему вся Собаковка считает его сыном ученого барина Глеба Алексеевича Красменева. Безуглый дома спросил мать. Она долго плакала, потом сказала, что любила только одного человека — Федора Безуглого.

Дядя Яков поручал племянникам разбрасывать и расклеивать листовки. Старшего он ввел в организацию. На каторгу Яков и Иван пошли вместе. Царский суд осудил их за принадлежность к «преступному сообществу» — российской социал-демократической рабочей партии большевиков.

С матерью после каторги Безуглый увиделся только в восемнадцатом году. За несколько дней до приезда сына она сходила в загс с Глебом Алексеевичем Красменевым. Безуглому не понравилось, что отчим или отец (он так и не знал точно) при регистрации взял себе фамилию его матери. Помещик Красменев теперь был членом коллегии защитников Безуглым.

У деда, как и у матери, Безуглый бывал редко. Безуглый в двадцать пятом году встретил его таким же, каким помнил в пятнадцатом, — розовая лысина, голубые блестящие глаза, белый клин бороды. Восьмидесятивосьмилетний старик сидел за столом, с неизменной своей солдатской выправкой, веселый, широкоплечий, прямой,

как юноша. Он легко ходил на лыжах за зайцами и редко давал промах по бегущему зверю. Вальдшнепы, неосторожно залетавшие к нему в сад, никогда не уходили от его длинной, букетного дамаска, шомпольной двухстволки. Безуглый прожил у деда погожую предосеннюю неделю.

Дед стучал по дорожке кожаными калошами. Ему их шил сапожник по особому заказу. Он вел внука в дальний угол сада. Они сели на широкую скамью. Многорукие яблони тяжело наваливались на скрипучие костыли-подпорки. Родовые муки раздирали крепкие тела деревьев. Яблони скатывались с их опущенных холодных лбов, как крупные капли пота. Дед положил тяжелую пятерню на колено внука.

— Ваня, слушай сюда.

Пальцы старика были тверды.

— Мальчонкой махоньким ел ты тут на скамейке яблоко. Одно семечко выпало тебе в горстку.

Дед теребнул бороду.

— Повеселил ты мое сердце, внучок, в землю-то семечко воткнул. Память, думаю, по себе Ванюшка в саду сажает. Не с пустыми руками пойдет по земле, делу дедовскому будет наследник.

Дед показал на большую яблоню около скамьи. Золотые спелые плоды мигали в ее листьях, как утренние звезды. Безуглый с гордой радостью смотрел на мир, созданный его рукой. Он посадил. Он, который считал себя гостем в саду. Безуглый тогда же ощутил в себе горечь зависти к деду. Его сады разливались и шумели, как реки. На зеленых берегах перекликались крикливые толпы его детей и внуков. Дед после смерти будет жить в их рассказах, в их походке, в чертах лица, в окраске волос и глаз. Яблони, посаженные им, долго будут цвести и ронять на землю отвердевшие румяные капли сладкого сока. Безуглый не посадил своего сада. Он расчищал тайгу для

других. На пасеке у Андрона в двадцать первом году только время обронило несколько недель и для него.

Безуглый сидел на крыльце, держал в коленях Никиту. Он смотрел на свое золотоголовое, вихрастое детство. Отец и сын покачивались друг против друга, как две волны бессмертного человеческого океана. Одна поднимается к своему пределу. Она скоро закудрявится сединой и исчезнет. Другая повторит ее путь — долго будет играть на солнце золотыми брызгами. Отец так думал о себе и о своем сыне.

— Тятя, а яблоки сладкие?

— Сладкие.

— Слаже арбуза?

— Кислее.

— Как квашена капуста?

— Слаще.

— Мы к дедушке поедем?

— Поедем.

— Он маленько не умный?

— Почему?

— А пошто он дался на собаку промениваться?

— Тогда такие законы, сынок, были. Людей меняли и продавали, как скотину.

— Наши партизаны дали бы им законы.

— Ну!..

— Они Отрыганову етому башку бы оттяпали, а нето иншо и напополам его пилой распилили.

— Почему пилой?

— А дядя Михей с теткой Пелагеей колчаковских буржуев толстопузых чем пластали?

— Неправда.

— Ты наскажешь, слушай тебя. Я от роду не врал, честное ленинское. Думашь, я маленький, без понятия?

Никита высвободился из отцовских колен. Он прыгнул через все четыре ступеньки крыльца, схватил хворостину и погнался за свиньей Оксей. Окся мешала бабушке Анфии, лезла носом в сеть. У бабушки вокруг глаз и губ заиграли морщины. Она, поглядывая на мальчика, говорила Безуглому:

— Никита — первый мой помощник. В прошлом году мы с ним сажали картошку. Я стара стала, не вижу. Он меня поправляет: «Бабушка, у тебя ямочки криво пошли. Бабушка, опять ты вбок поехала». Посмотрю — и верно свильнула с борозды, слепая.

Безуглый слушал старуху и смотрел на поля. За поскотиной лежали холсты, как узкие полоски снега. Вечные снега на вершинах казались длинными холстинами. Безуглый сидел во всем белом, на выскобленном добела крыльце. Свежие сквозники проносились между резных балясин. На Безуглом трепыхалась рубаха

Из двери высунулась Анна. От работы у огня щеки ее горели. Она насупила брови и, подражая сельисполнителю, зазывающему на собрание, закричала:

— Граждане, в избу, шаньги поспели, самовар на столе!

За столом Безуглый и Анна переглядывались, беспричинно фыркали. Он рычал на нее:

— Баба, чайку мне погуще.

Они озорничали. Безуглый был зачинщиком. Анна подносила ко рту блюдце. Он стучал по столу кулаком.

— Жена!

Она вставала, поджимала губы, складывала на животе руки, кланялась и спрашивала:

— Что прикажешь, батюшка Иван Федорович?

Безуглый топал ногами, хохотал.

Самовар был выпит. С большого деревянного блюда исчезли все шаньги. Безуглый обеими руками похлопал себя по животу.

— Лям-пам-пама! Не звучит. Прямо беда. Как я с таким брюхом хлебозаготовками буду заниматься? Крестьяне скажут, помещик российский нас обирать приехал.

Анна ставила в шкаф вымытую посуду.

— Ты бы, гражданин помещик, навоз из стайки у коровы убрал. Дело это самое ваше, мужичье.

Анна стояла спиной к Безуглому. Он не видел ее смеющихся глаз.

— Навоз? Вилами?

Анна уткнулась лицом в закрытые дверцы шкафа.

— Ужели топором?

Безуглый пошел к двери.

— Можно. Я это умею.

Безуглый провозился на дворе целый день. Анна заставила его вычистить все стайки. Он починил поломанное звено изгороди, вывез за деревню навоз, вымел ограду.

На закате Безуглый открыл ворота, вышел на улицу. Руки у него были обожжены, в спине и в ногах мешала тяжелая теплота. Анна остановилась на дворе. Она держала подойник и белое полотенце. С Оградной горы сбегало стадо. В пыли мелькали задранные хвосты, морды, рога. Скот ревел. Он точно попал в серую снежную лавину, и его несло вниз, на крайние избы Белых Ключей.

Селом стадо шло медленно. Вымени у коров были полны, сосцы напряжены. За стадом на дороге стлались мокрые молочные нити. Скот нес в своей шерсти знойные запахи молока и пота. Воздух в улице сразу нагрелся.

Горы поднялись и закрыли солнце. Сумерки и тишина отделили землю от неба. Земля замолчала мгновенно. Безуглый услышал тихие всплески в подойниках и спокойные вздохи коров, отрыгивающих жвачку.

Анфия Алексеевна кормила цыплят. Безуглый подошел к ней, присел на корточки. Цыплята заскочили ему на колени, на плечи, стали клевать у него пуговицы рубахи. Безуглый брал в руки и внимательно разглядывал

теплые, пушистые, пикающие комочки мяса. Гусыня привела с реки стаю гусят. Гусята щипали растопыренные пальцы Безуглого, посвистывали. Коровы легли рядом, тяжелобрюхие и громоздкие. Серко в дальнем конце двора фыркал и хрустел сеном. Безуглый заглянул в амбар, зачерпнул в закроме горсть холодного золотого зерна, пощупал его, попробовал на зуб. Амбар Безуглый запер, ключ положил себе в карман. Он долго еще потом ходил по огороду, смотрел на свежую зелень овощей, на могучие побеги сорняка вдоль изгороди. Огород рос на глазах, как будто из земли на поверхность непрерывно выметывались упругие зеленые струи.

Вечером река была слышнее. Безуглый стоял между гряд, слушал. Ему казалось, что он слышит шум зеленых ростков, струящихся у него под ногами. Безуглому хотелось навсегда остаться в Белых Ключах, в своем доме, с своей женой и с сыном. Он хотел обсеменять землю и собирать зерно в закромы.

Анна стучала в избе посудой. Она собирала ужин. Безуглый уверенной походкой хозяина поднялся на крыльцо. Ступени заскрипели под ним. Он открыл дверь и шагнул в темное и теплое нутро избы.

Ночью Безуглый положил свои руки на живот Анне и слушал долго, как пахарь землю, потом спросил:

— Анна, ты понесла?

Анна повернулась к нему лицом.

— Пустоколосая я, Иван Федорыч.

Она горячо дохнула ему в ухо.

— Заждалась я тебя, перестоялась, ровно пашня без дождика.

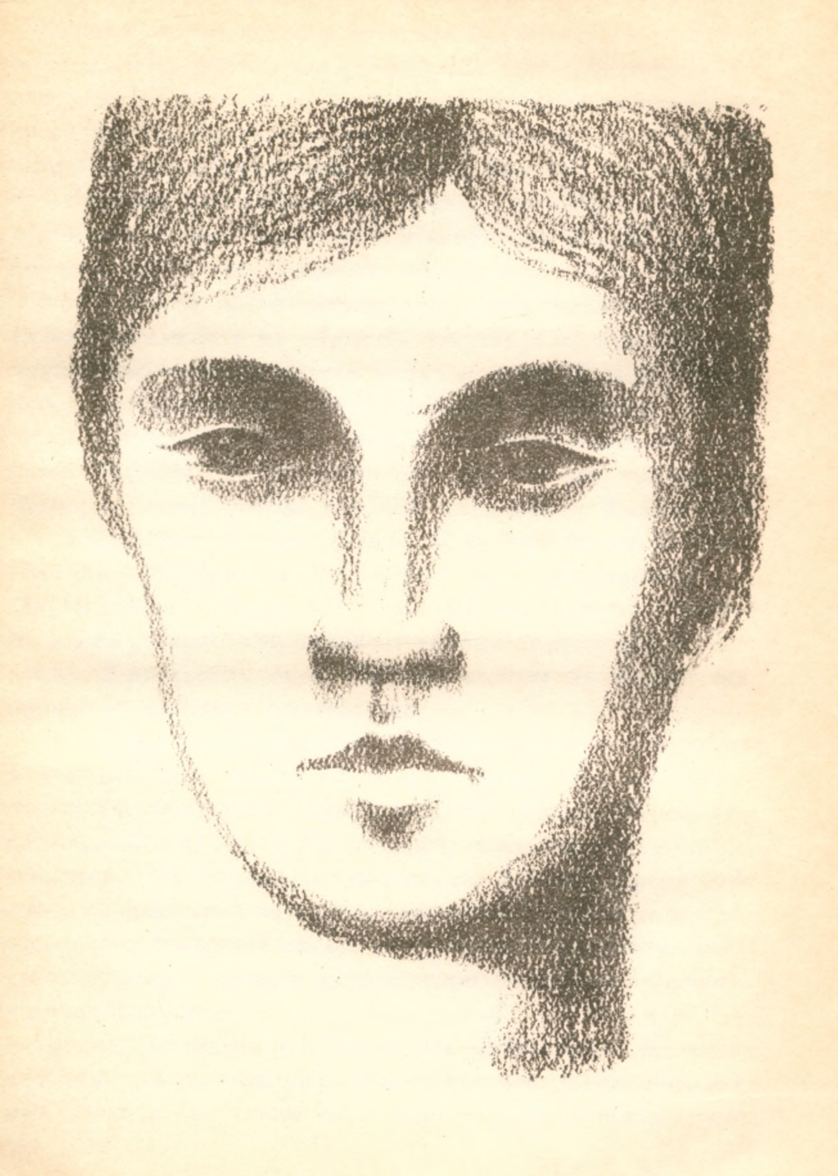
Безуглый с горькой завистью снова подумал о деде Он хочет, чтобы и у него дети пахали свои поля рядом с его полем, чтобы и его внуки сеяли со своими отцами. Он хочет жить вечно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Фома Иванович Игонин возвращался в Белые Ключи с аймачного совещания секретарей сельских ячеек. Пегий мерин под ним шел спокойным широким шагом. Игонин сидел в седле, бросив поводья. Он усердно набивал махоркой громадную немецкую трубку.

Фома Иванович знал толк в табаке и покурить любил. Он прожил большую жизнь — табаков напробовался всяких. Живал он и в Европе и в Америке. Иноземные табаки казались ему или сладкими до приторности, или слишком горькими, или вовсе пресными. Выше всякого иностранного курева он ставил сибирскую махорку-самосадку. Ей он утешался в трудные времена, ее закуривал в веселые минуты. Он уверял, что она очищает голову, когда поутру нечем опохмелиться. Она в дурную погоду унимала у него ломоту в правом раненом боку. Махоркой Игонин укрощал голод, утолял жажду, боролся с усталостью, разгонял сон, с ней ходил на фронтах в атаки. В одном только случае — во время деликатных разговоров с женщинами — он не прибегал к ее помощи. Тогда Фома Иванович предпочитал действовать благовонными и сладкими заморскими табаками. Однако делал это исключительно в угоду женской слабости. Сам же был убежден непоколебимо, что с махоркой по вкусу. по аромату, по крепости и по особому лекарственному воздействию на человеческий организм ни один заграничный табак срав-



няться не может. Фома Иванович пренебрегал даже высокосортной моршанской полукрупкой, считая, что в нее подмешивают древесные опилки. Он доверял только табаку, выросшему у него на грядках. Махорка собственного производства выглядела, правда, неказисто. Игонин был самым занятым человеком в Белых Ключах, поэтому все, что касалось удовлетворения личных потребностей, делал торопливо и даже неряшливо. Махорку он обычно крошил топором на доске. Крошево получалось вроде плохого силоса. В нем часто попадались куски, не влезавшие в трубку, похожие и на обрывки лопуха, и на репейное палочное былье, и просто на мусор и пыль. Всю эту смесь перед употреблением Фома Иванович, насупив брови, долго разминал в кисете своими жесткими желтыми пальцами. Лицо у него прояснялось, как только трубка, по размерам тоже весьма близкая к силосной башне, туго и доверху наполнялась табаком. С первой затяжкой Фома Иванович преображался. В карих косо прорезанных глазах начинали играть все семь цветов радуги. Улыбка медными отсветами бродила от тонких бритых губ до широких монгольских скул. Черные волосы на голове становились особенно блестящими.

Игонин распустил такую дымовую завесу, что исчез в ней вместе с конем. Издали казалось, что по дороге перекатывается серое облако, упавшее с неба. Ни седока, ни лошади видно не было. Комары и мошки облетали его стороной. Неосторожные насекомые, попав в сферу действия могучей трубки, падали замертво. Громадные и жадные пауты взмывали вверх со злобным жужжаньем. Медведи, сосавшие малину в километре от дороги, фыркали и убегали в горы.

В селе Игонин слыл завзятым табачником. Молодые кержаки и кержачки при встречах с ним плевались, старые крестились. Духом табачным от него, действительно,

шибало на целую улицу. Лепестинья Филимоновна утверждала, что у Игонина от табачного жара кровь в жилах спекается, оттого и лицо у него цвета темной меди, словно у нечистого.

Пегий мерин Игонина был стар и мудр. Чудодейственную силу трубки хозяина он отлично знал, поэтому хотя и чихнул, хлебнув табаку, но на седока покосился глазом, увлаженным слезой благодарности.

Фома Иванович так до самой поскотины и не взял поводьев. Он машинально сжигал трубку за трубкой, по рассеянности принимая обильные дымные извержения своего курительного инструмента за колеблющуюся полдневную испарину над полями...

Конечно не за одну только трубку не любили Игонина кержаки. Не нравился им и его язык. Игонин умел говорить. Он часто на собраниях начинал со сказки, с шутки, прикидывался простачком. Однако богатые мужики никогда не смеялись от его рассказов. Игонина они слушали настороженно и злобно. Его считали настоящим коммунистом, поэтому и ненависть к нему у кержаков была большая. Не всегда его иносказания находили уместными и в аймачном комитете партии, и в ячейке, где он был секретарем.

Игонин был недоволен своим выступлением на совещании. Его дельных предложений не приняли, отмахнулись от них, как от очередной выходки чудаковатого коммуниста. Фома Иванович утешался одной мыслью, что Иван Федорович Безуглый его поймет и что вместе с ним он хорошо поработает в селе. Игонину сильно хотелось поговорить с Безуглым. Они до отъезда, одного на охоту и другого на совещание, виделись только мельком.

Игонин приехал в Белые Ключи под вечер, дома наскоро поел и ушел к Безуглому. У Безуглого сидели избач Улитин, объездчик Рукобилов и школьный сторож Хро-

мыкин. Игонин распахнул дверь. Анна стояла у порога. Она стукнула его кулаком в спину.

— Иди, жених неотвязный, расскажи Ивану Федоровичу, как ты ко мне сватался.

Игонин запнулся за половик. Безуглый встал ему навстречу из-за стола, загроможденного книгами. Игонин мотнул коротко остриженной лобастой головой, с силой сдавил руку Безуглого.

— Не огорчайтесь на меня, Иван Федорович, в крестьянском деле без бабы полный прорыв.

Смех подсек у Анны колени. Она села на скамью.

— У тебя каждый год новая баба.

Она дернула его за рваную штанину.

— Вот и ходишь с прорывами.

Игонин сел с ней рядом.

— Смысл жизни, Анна Антоновна, не в штанах.

— А где же он? У бабы в юбке?

Анна схватила со стола самовар, спрятала за ним свои покрасневшие щеки. Игонин взглянул на Безуглого. Безуглый смеялся во весь рот.

— Мечтаньям женским я, Иван Федорович, с молодых лет был подвержен.

Анна вышла в кухню и оттуда крикнула:

— Мечтательный жеребец ты, Фома Иванович!

Игонин отодвинул от себя книги, облокотился на угол стола.

— Знал я, Иван Федорович, направляясь к вам, что придется мне обрисовывать свою линию в женском вопросе. В виду такого случая, извиняйте, выпил для облегчения языка.

Улитин щипал жидкие рыжие усики, дергал бороденку, усмехался.

— Уставом всесоюзной коммунистической партии большевиков выпивка будто не предусмотрена?

Игонин покосился на избача.

— Не южи под руку, Касьян Сергеевич, вожжа мне нонче под хвост попала.

В его глазах бродили золотые огни. Он смотрел на закат в окно через голову Безуглого.

— Дедушка Гаврила первый заразил меня своими сказками. В Анделейском царстве-государстве, говорит, жила царевна. Никто до нее доступиться не мог, ни купец, ни генерал, ни прынц. Один сибирский солдат Иван всеми ее деньгами-капиталами завладел и самою за себя взамуж взял.

Игонин молчал минуту. Он не знал, с чего начать рассказ о себе.

— Стою я на военной службе в Питере на часах в Зимнем дворце и мечтаю царевну попробовать. А Татьяна, царская дочь, шуршит юбками по лестнице, и запах ее сладкий голову мою обдуряет. Одна она мне глянулась из всех. Прочитал я в то время в книжке, что каждый солдат носит в ранце палочку маршала, возмечтал себя Наполеоном. Войну почел за счастье. На фронте, думаю, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Однако ни того ни другого не случилось, и попал я к немцам в плен без всякого геройства.

Игонин плотно сжал губы, опустил голову. Закат потемнел на его щеках.

— Про Германию много рассказывать не стану, как решил я объяснить свои женские дела, упомяну только об немке Эльзе.

«Отдали меня в батраки старушке одной с дочерью, девкой. Сын ее в окопах. Стал я у них хозяйствовать. В руках у меня все плясало. Конишку раскормил — яйцо на спину клади, не упадет. В ограде иголку брось — не потеряется. Старуха мне на стол белую скатерть. Дочь ее со мной рядом. Сын приходит на побывку, дивуется. На

пашне мы с ним весь его отпуск робили, ровно родные братья. В последний день, как ему обратно отправляться, дает он мне руку и говорит: «Русский, бери мою сестру и оставайся за хозяина». Старушка плачет и становит нам кофий

«Ладно, сошлись мы с Эльзой мнением, сделались вроде как муж и жена. Спим на перине, периной покрываемся. В субботу лезу я в ванну. В воскресенье у меня кофий с молоком, а через губу весится матерущая трубка. Густав, шуряк, подарил на память. Теща меня по плечу хлопает: «Зер гут, рус». Жена на ухо шопчет: «Ду, майн зюсер», — сладкий, значит, мой. Не жизнь мне была, а царствие. Взяло меня сомнение по всем линиям. Вижу я, что никакого немца нет, начальство его выдумало. Разговор, верно, не наш, а работа и думка с нами одна. Одинаковые с нашими в немцах имеются простые люди и полиция, и кулаки есть, и помещики. Отличка только в одежде да в обличьи. Народ у них шибко чисто ходит и наголо бреется. Духовенство, и то бритое.

«Прижили мы с Эльзой сына. Карлом по-ихнему окрестили. И зачала тут казна народ обижать. Хлеб, картофель давай солдатам, а себе только норму. Я, конечно, урожай свой спрятал. У соседей, погляжу, суп — вода. У нас — ложка в горшке стоит. Дома я так не жил, как там довелось. Останусь, думаю, с немцами навечно. Язык наш забывать стал. Еж по огороду бежит, жена спрашивает: «Как по-русски?» Я: «Игель, игель», а по-своему и не могу назвать. Она закатывается, смеется: «Ду бист айн дойче». Обидно мне было. В горле аж заперхало. Ночью только вспомнил. Эльза спала. Я ее в радости кулаком по боку и ору: «Еж! Еж!»

Игонин вытащил из кармана трубку.

— Однако ошибся я в себе. В одну ночь убег в Россию, не простился с женой, с сыном. Земляк беглый забрел

и самустил. Три года я до него слова русского не слыхивал.

Хромыкин заскрипел зубами.

— Ты, дорогой товарищ Игонин, объясни Ивану Федоровичу про свои немецкие манишки-галстучки.

Хромыкин повернулся к Безуглому.

— Он у нас, Иван Федорыч, совсем было склонился к буржуазному классу. Мы его всей ячейкой брали в работу, сдергивали с него немецкую сбрую.

Улитин сплюнул сквозь зубы и сказал:

— Хромыкин у нас хоть и в коммунистах ходит, а в политике, можно сказать, зеленого от желтого не отличает.

Обида затрясла у Хромыкина нижнюю челюсть.

— Я, гражданин Улитин, твою хромоту на правую ножку давно заприметил, хоть ты и первый книжник. Растолкуй мне, неграмотному партейцу, какая у человека политика получается, если он в своем одноличном хозяйстве начинает водопроводы налаживать, сортирчики утеплять.

Безуглый взял Хромыкина за плечи, усадил его на скамью.

— Товарищи, давайте условимся не прерывать Фому Ивановича.

Игонин точно не слышал нападок Хромыкина. Он сидел спокойно, подперев голову. Голос у него был ровный. Лицо неподвижно. Глаза, как у слепого, бесстрастны. Игонин напомнил Безуглому слепца-сказочника Гаврилу. Он его видел и слушал в двадцать первом году на пасеке у Андрона. Гаврила был родным дедом Игонина. В сумерках внук показался Безуглому обритым стариком.

— На родину я угодил к самой Февральской революции. Слышу, царь с семейством заарестован. Я в Питер, в полк, и добиваюсь наряда к дворцу. Опять стою в Царском

Селе и вижу — полковник Романов лопатой лед с панели скалывает. Врешь, думаю, будет твоя дочь моей. Хоть и бывшая царевна, а все-таки лестно.

«Поехал я с ними в Тобольск, в Екатеринбург. Татьяна у них за главного ходока по всем делам. Нужно царю вино или царице сладости какие, — она к караульному начальнику. Отказу им в продуктах никакого. Однова заявился Белобородов. Татьяна спрашивает его: «Вы кто такой будете?» Он ей отвечает: «Председатель областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Она смотрит на него. На глаз бойка была деваха. «По-старому вы, значит, генерал-губернатор?» Он смеется и говорит: «В чем у вас надобность имеется?» Она высказывает: «Газеты нам надобны». Посулил он ей «Правду» и «Бедноту» и ушел в канцелярию.

«Первого мая загуляли по городу демонстрации. Романовым слыхать и музыку и песни, а увидеть ничего невозможно. Окна у них за высоким забором. Татьяна моя, смотрю, на подоконник, на цыпочки, вытягается в нитку и объясняет: «Красная гвардия идет. Детей на автомобилях везут». Николай вдруг, слышу, спрашивает ее: «Какой у них праздник первого мая?» Никому бы не поверил, что царь не знал дня Интернационала. Она между тем скоренько, ровно ученица урок затверженный, вычитывает ему: «Первое мая — международный праздник труда. В этот день рабочие всех стран выходят на улицу с красными флагами». С того разу у меня глаза больше стали. Вот, думаю, они какие, цари-то настоящие, без прикрасу. Вышел он после на двор дрова пилить с учителем-французом. Мне и глядеть на него с души воротит. Сам себе дивлюсь, как раньше не видел, что личность у него совершенно скудоумая. Не мог я долго в толк взять, почему люди самого обнаковенного рыжего человека в зеленой гимнастерке почитали за земного бога.

«В дверях царских комнат были прорезаны окошки. Занавески задергивались утром на десять минут и вечером на десять. Из колидору у нас все семейство всегда на полном виду, ровно рыбы сонные в стеклянных банках. Верно говорю, руками, ногами они шевелили, а жизня в них была очень ничтожная. Николай с Александрой словом не перемолвится. С Алешкой тоже все молчком. Сядут оба на пол, ноги раскорячут и цельный день в шашки играют. На полу конечно медвежачьи шкуры настланы. Александра губы подожмет и в потолок глядит. Поп у них свой — обедни, всенощные служил. Никто с ним не молился. Так один, бывало, и поет петухом. К дочерям, к фрейлинам допускались с воли два князя. Придут, повздыхают, ногами поширкают, ручки перецелуют и уйдут.

«Стучу я прикладом на колидоре у Романовых, читаю книжки, как сменюсь, и думаю свою думу. С Татьяной мне не то, что сговориться, слова молвить нельзя — запрещение и надзор строгие. Скучаю я об ней и вычитываю на тот случай, что у Наполеона жена была простого званья. Вижу, в революцию власть надо брать не бабьими руками. Силу военную если заиметь, то и крестьянку можно произвесть в императорши. Летна боль задави, думаю, мою царевну. Будет фарт, испытаю ее сладости, не будет, и так проживу. Однако интересуюсь я глядеть в щелку на царских дочерей, когда они раздеются. Все ищу, нет ли у них отлички какой против наших девок. Вечером раз гляжу и сумневаюсь. Навешивают они на себя свои дорогие ценности — каменья, золото. Под юбки поддеют теплые штаны. К чему бы это, думаю. Конечно, по правилу гарнизонной службы вызываю разводящего, тот к караульному начальнику, тревогу, обыск. Находим под шкурой прорез в полу, лезем — подкоп, лезем далее — купец Агафуров с двумя сынами сидят на карачках

и ожидают получения чина Сусанина. Дали мы им высшую премию и через ихний дом обратно явились. Спрашиваем Николая: «Ваше намеренье было?» — «Нет, говорит, мне предложили». Стоят они с опущенными головами, тли беспомощные. Одна Александра глядит прямо. Глаза у нее как на пружинах ходют. Цари, думаю, самодержцы по-готовому убечь не в силах. Сколь же знаменитей вас тот арестант-политик, который последнее белье с себя рвал, ладил веревочную лестницу и по ней из острогу от ваших висельниц спасался. А вы колечки, брошечки, подштанники пуховые. Сердце у меня сделалось в огне, скулы морозом сводит. Все я тут припомнил — и японскую войну, и германскую. Понял я, что от слабости и от неразумности своей они на крыльце у себя девятого января тысячи людей убили. Отольются, думаю, вам народные слезы свинцовыми пулями. На Татьяну я и глянуть не пожелал».

Улитин схватился обеими руками за голову.

— На сказку твои раскрашенные слова находят.

Игонин остановил на Улитине повеселевшие глаза.

— Сказка не бывает без прикраски.

Игонин отвернулся.

— Тебе, книжный читака, неподсильно будет раскумекать полную мою автобиографию.

Рукобилов согласился с Игониным.

— Для складу, Фома Иваныч, иной раз и в нашем охотничьем промысле, случается, соврешь. К примеру стрелишь тетерю сидячую, а товарищу объяснишь, что сбил на полету. Обскажешь и как она пырхнула, и как пала. Откудов только и слова эти красные в рот заскочут. Глаз языку, видно, не хозяин. У него своя особенная имеется пружина.

Игонин шутливо спросил Улитина:

— Можно мне слово предоставить?

Улитин махнул руками. Игонин смял улыбку.

— В скорости судьба Романовых была вырешена уральским советом. Наехало ночью к нам начальство наше разное — Белобородов, Сыромолотов и другие товарищи. Николаю смерть вышла льготная. Приказали мы ему одеваться. Он спрашивает: куда, мол, меня требуют? Объясняем, что переводим его с семейством в другой город. Он собрался, вышел на двор, шаг какой шагнул, нет ли, и пал мертвый. В затылок его стрелили. Александра выходить не захотела, с кровати не встает и кричит не своим голосом. Я ее за косу. Коса ее у меня на ладони и сейчас горит, как вспомню. Алексей спал, ничего не слышал. Его в постели кончили. В колидоре пришлось еще старичишку, камердина Николая, пристрелить. Вредный был такой, липучий холуй. Царь ходит по комнате — он стоит в дверях. Царь сядет, и он на кончик стула задницу свою сухую повесит. Царь пальцем шевельнет — он ему трубку тащит, спичку зажигает. Схватил он Белобородова за ноги: «Допустите меня к его величеству. Вы недоброе замыслили». Ну, что ты с ним будешь делать. Дочери и фрейлины услыхали стрельбу, и пошел у них визг. Война, прямо, получилась с ними настоящая. Ухватки никакой на эти дела в ту пору у нас не было. Шуму мы лишнего много распустили. Татьяну я успел выцелить и сшиб с одного выстрела в самое сердце. Приду, думаю, домой в деревню, расскажу, как служил Фома Игонин в некотором царстве-государстве. На царевой дочери, правда, не оженился, но царицу за косы таскал и царевну своими руками довел до смерти.

«Тела царские мы сожгли и праху не оставили. Белобородов за одну ночь с лица побелел, ровно известью умылся. Утром поехал он на прямой провод отбивать о происшествии телеграмму в Москву во ВЦИК Свердлову. Свердлов, слышим, обозвал его дураком, но между про-

чим согласился. Положение у нас тогда очень строгое было — белые подступали, крутом измена. Город пришлось отдать врагу».

Глаза Улитина стали похожи на два шила. Остриями они были устремлены к Игонину. Улитин томился неукротимой жаждой обличения.

— Позволь тебе заметить, Фома Иванович, рассказываешь ты действительно завлекательно, но не согласно с официальной версией.

Усы, борода, волосы торчали у избача огненными колючками.

— Насколько я припоминаю, в «Известиях ЦИК»...

Игонин сморщился, зачесал широкий нос.

— Опять ты, Касьян Сергеич, со своей книжной правдой. Теорист ты узкоумый.

Игонин постучал пальцами по столу.

— Не люблю я людей становить к стенке, хоть и знаю всю ихную страшнеющую вредность. Способнее мне будет их в суматохе ликвидировать.

Он встал, подошел к окну.

— А ты версия. Ты человека пойми!

Он стоял спиной к собеседникам. Улитин, Рукобилов, Хромыкин стали вертеть цыгарки. Хромыкин хлебнул крепчайшей самосадки и, давясь дымом, сказал Игонину:

— Ошибку ты поимел, Фома Иванович, с товарищем Белобородовым. Вам надо бы башки ихние не жечь, а по всему нашему суюзу возить. Народ тогда бы не сумнялся. А то по деревням есть которые и нонче думают, что царь расстрелян не настоящий.

Игонин опять сел на скамью.

— Верно говорит народ, нестóящий был царишко. Царского в нем — только чин да корона.

Игонин попросил у Анны воды. Хромыкин крикнул:

— Об галстучках чего молчишь?

Игонин пил большими, громкими глотками. Анне он вернул пустой ковш, руками обтер губы.

— Дались тебе мои галстучки. Немецких у меня давно нет, изношены. Американские, верно, имеются в полном порядке.

Игонин набил свою большую трубку.

— Судьба у меня на женщин обширная, Иван Федорович. Жалею, не вел я дневника.

Трубка вспыхнула и задымилась у него в зубах.

— Доскажу, что помню. В третий раз обернулся я, значит, в Питер. Дурь женская из головы у меня не выходит. Приглядел одну, дознался — настоящая столбовая графиня. Свела меня с ней старуха, бывшая ее стряпка. Насильничать я не любитель, купил ее за два пуда ржаной муки и фунт сала свиного. Выдача пайковая ей была легкая, как нетрудовому элементу, на день осьмушка семечек подсолнечных. Взошел я в графскую спальную. На полочках безделюшечки, недотрожки. Постеля — узоры, цветочки, кружева. Взял я свою графиню за белы рученьки, повалил на подушки. Сапоги из озорства не снял. Простыни, одеяло вывозил дегтем и грязью, ровно по ним мужик на телеге проехал. Не поглянулась мне графиня.

«Встал я с постели в сердцах, плюнул и матерное выражение сказал. А на Невский вышел между тем в большой гордости. Революция, думаю, она нам, солдатам, ласковая мамка. Мужик ведь я и поимел такое счастье с большой дворянкой, как со своей бабой, распорядиться. На проспекте никому не даю дороги. Наступаю на ногу ученому лицу в очках. Спехиваю с панели барыню с редикулем. Опять припоминаю, что Наполеон через революцию пришел, из простых выслужился. Может быть, думаю, она, и наша-то, для того случилась, чтобы мне, сибирскому солдату, весь мир под свои руки положить».

Улитин хихикнул, закрыл рукой щербатый рот. Игонин кулаком стукнул себя по колену.

— Ничего смешного в своих словах не усматриваю, Касьян Сергеич. Наполеоном, может, и ты имел намеренье сделаться и многие другие. Один только вот за всех вас нашелся рассказчик.

Игонин оглянулся на Безуглого.

— Иван Федорыч, дальше желаете слушать?

Безуглый кивнул головой.

— И даже очень.

— Живу я в Питере. Революция идет на углубление. Я изучаю все ее происшествия как прошедшие, так и настоящие, и нахожу полное утверждение своим надеждам. На юге поднялись краснолампасные Наполеоны — Корнилов, Каледин, Деникин. Из нашей Сибири по-суху плывет черноштанный адмирал Кольчак. В Красной армии один маленький Наполеонишка выискался — бывший полковник Муравьев. Ума только у них дворянского нехватило на большие дела. На Кольчака я пошел в уверенности и его разбить в мелкие дребезги, и самому встать командующим всей Красной армии. Втолкал я тогда себе в голову, что Наполеон должен быть из рядовых. Между тем и вторую войну провоевал я опять без особенных подвигов. Домой, выходит, я заявился Наполеоном без войска. Баба моя, пока я по фронтам мотался, прижила двух ребят от разных мужиков. Я ей слова худого не сказал, как сам не воздержан был, от немки имел сына. Порча у меня только от роскошной военной службы получилась в мыслях. Не смог я со своей бабой жить. Уж очень она мне простой показалась. В деревне, гляжу, одна скука и идиотство. Бросил я бабу. Брюхо ей набил и ушел на рудник. Путался с женщинами разных классов и партий.

«Не фартовый, думаю про себя, не вышел в Наполеоны. Однако замечаю, у нас в советских республиках никто и

помимо меня Наполеоном не объявился. Власть в руках партии. Начинаю посещать собрания ячейки. Месяц походил и всю свою дурость, ровно грязь, разглядел на себе. Обрадовался я новому направлению своего ума и подал заявление на кандидата в члены. Дивно мне, как в Красной армии я о наполеонстве промечтал, а коммунизма не заметил. Бывало, политрук или комиссар весь мир по нитке раздергают, разъяснят все от начала земной и небесной жизни до Октябрьской революции и далее. На ячейке повстречался я с Сухорословой, с Бурнашевой и прочими сознательными гражданками и понял, что не в юбке у бабы смысл дела. Хотел сойтись с Сухорословой — отказ. Верю, говорит, всякому зверю, а тебе, кобель, погожу. Сватался к Анне Антоновне. С ума ты соскочил, отвечает, как я за тебя пойду от живого мужа?

«Без бабы, без ребят жизнь — чашка пустая. Весной затоскую я шибко по домашности, по пашне, наберу в кооперации ситцов, обутков, пряников — и домой. Бидаров Семен Калистратович увидит меня, и сейчас поклон: «Мужичье счастье в земле. Пахать тебе надо, Фома Иванович». Поживу с семейством, отсеюсь, отожнусь и назад».

Игонин быстро протянул через стол руку, нагнулся к Безуглому, схватил его за плечо.

— Болтаю я все пустое. Не об том шел я к тебе разговаривать. Давай, Федорыч, думать, колхоз ли, чего ли у нас начинать надо.

Безуглый положил свою теплую ладонь на его жесткие пальцы.

— Давайте думать, товарищ Игонин

Лицо Игонина было рядом. Безуглый чувствовал его горячее дыхание у себя на усах. От него совсем не пахло вином. Безуглый не утерпел, спросил:

— Неужели вы пили сегодня?

— Капли в роту не было.

— Зачем же вы тогда?..

— Наврал я тебе, Федорыч, чтобы ты меня за дурака болтливого не понял.

— Не понимаю.

Игонин отпустил плечо Безуглого.

— Может, я и царицу только мертвую за волосы потрогал.

В темноте Безуглый не видел ни глаз, ни лица Игонина.

— Заганул я тебе, Федорыч, загадку.

Анна зазвенела стеклом от лампы. Улица за окнами была черна и тиха, как заброшенная шахта.

Инженер по гидроустановкам Лия Борисовна Берг кончила свой доклад в московской радиостанции, отошла от микрофона. Безуглый снял наушники, откинулся на спинку стула. Он знал о выступлении Лии. Она сама предупредила его телеграммой. Лия говорила о проекте гидроцентрали на Золотом Озере. Безуглый был знаком с первыми наметками работ по электрификации Алтая. Доклад мало его интересовал. Он слушал голос Лии...

Безуглый с Лией свернули с Пречистенки на набережную. На Лии было скрипучее прорезиненное пальто. Портфель женщины-инженера толстомордым мопсом тыкался Безуглому в колено. Она курила. Дым папиросы мотался над ее головой, как вуаль, задранная ветром. К ним подошел мальчик, продавец цветов.

— Гражданин, купите гражданке!

Безуглый молча улыбнулся ему. Мальчик свистнул и отошел.

— Если кто с понятием, всегда купит.

— Понимаем, маленький гражданин, и очень даже, только в карманах у нас...

Безуглый тоже свистнул. Мальчик вернулся и быстро сунул Лии в руку несколько белых астр.

— Нате вам, красивенькая гражданочка, от меня. Кавалер-то ваш свистун несчастный.

Лия блеснула зубами. Ноздри у нее дрогнули. Она отдала мальчику коробку из-под папирос с серебрушками и медяками трамвайной мелочи. Безуглый топтался на месте и не знал, куда девать лицо и руки.

На другом берегу Москва-реки, у Каменного моста, на постройке, топали паровые молоты. Полчища строителей ломились через старую кривобокую Москву. Кварталы низеньких домишек сдирались с города-матери, как вонючие пыльные юбки. Купола храма Христа торчали оголенными грудями толстой купчихи. Город горел в кострах завоевателей. С Кремля, с заплесневелых зеленых черепичных крыш полз на реку сырой ветер. На реке баба в подоткнутой красной юбке полоскала белье. Стук ее валька был древен и необычен в шумах миллионной столицы.

Безуглый жил на набережной Кропоткина. Лия не хотела терять времени на поездку к себе в Сокольники. Рано утром ей надо было опять возвращаться в Хамовнический район.

Она осталась ночевать у Безуглого.

Они не один раз спали вместе. Любовниками никогда не были. В подпольной типографии после ночной работы падали на диван и засыпали, как брат и сестра. Они мало думали о себе.

Безуглый погладил стриженый колючий затылок Лии и поцеловал ее круглое загорелое плечо. Она скосила на него мудрые человечьи глаза. Ему показалось, что на них блестит тонкая пленка льда.

— Вы это о чем, товарищ?

Безуглый застыдился, спрятал голову в подушку.

Разбудил их ласковый голос преподавателя физкультуры.

— Доброе утро! Начинаем утреннюю зарядку! Доброе утро!

Можно было подумать, что он руководит своей аудиторией из угла комнаты, из-за платяного шкафа. Радиоприемник у Безуглого был хорошо настроен.

Безуглый и Лия в одних трусиках стояли на маленьком коврике, махали руками, приседали, выгибали спины. Они оба были опытными физкультурниками. Неизвестный товарищ заботливо направлял их движения.

— Вдох! Выдох! Раз! Два!

У умывальника они повозились немного, потолкались, поплескались друг на друга водой. Умылись тщательно до пояса. На улицу вылетели бегом. На подножке трамвая Безуглый и Лия висели последними. Москва, как баба вальком на реке, стучала перекрестками и переулками, трясла свои пестрые кофты домов в старомодных мелких кружевах окошек. Безуглый и Лия смеялись и лезли в плотную злую толпу на площадке вагона...

Безуглый прошагал по комнате от стены до стены и снова сел за стол. Он взял ручку, бумагу, открыл чернильницу.

«Белые Ключи»
15/V

Милая Лия, говорят, что провинциалы любят большие письма и долгие разговоры по душам. Я сейчас снова стал провинциалом, поэтому тебя не должно удивить мое громадное послание. Вся эта писанина, конечно, только до хлебозаготовок, — когда они начнутся, мне будет уж не до друзей. Жара тут получится прямо среднеазиатская.

В Москве перед отъездом на Алтай мне не удалось

повидаться с тобой (ты была в командировке), поэтому тебе не известна самая последняя потрясающая новость международного значения... Можешь себе представить — я женат, у меня семилетний сын, изба, пашня, лошадь, корова, разная яйценосная тварь и всякая вообще домашность. Подробные объяснения (как сие случилось) будут Вам даны, уважаемая читательница, по получении от Вас конверта с подробным адресом и маркой на ответ. Все это совершенно серьезно, несмотря на несерьезный тон письма.

В селе меня встретили как старого коммуниста, командированного из Москвы как уполномоченного по хлебозаготовкам. Местные партийцы мне в рот смотрят, ждут. Казалось бы, все ясно, и любой пионер скажет, что я тут должен делать, о чем думать. Между тем я начал выдумывать чорт знает какие глупости. Неожиданно обнаружил в себе большую склонность к... ведению единоличного хозяйства. Вообразил себя пахарем, сеятелем, одним словом настоящим крестьянином. Деда вспомнил, его сад и почувствовал в себе сильнейшее желание получить оное фруктовое древонасаждение как законное наследство. Составляя списки кулацких хозяйств, вдруг с какой-то подлой жалостью подумал, что в Собаковке теперь тоже уполномоченный заготовляет такой же список и что деду моему Алексею его не миновать и, следовательно, никогда мне садом не владеть. До того ожадел, что во сне даже дедовские яблони считать стал. Ночью, раз так размечтавшись, просыпаюсь от шелеста бумаги и вижу: Анна (жена моя) сидит за столом босая, в одной рубахе и, шевеля губами, старательно выводит каракулями очередную свою заметку в областную газету. Стыдно мне стало как-то сразу. Сразу я тут нашел и себя, и свое место среди кучки подлинно новых людей в этом далеком, как принято выражаться, медвежьем углу. Ты

теперь догадываешься, что изжил я свои собственнические вожделения, если так откровенно пишу тебе. Тем не менее сам и сейчас не могу понять, как мог я так попятиться назад, прямо чуть на четвереньки не встал. Невероятная собственническая отрыжка. Никогда я с дедом не жил, никогда не думал о его саде. Особенно мне стыдно было за себя, когда я встретился с секретарем местной партячейки Игониным. К слову, человек он исключительно интересный. Он, к сожалению, не на хорошем счету в райкоме. Его недолюбливают за склонность к некоторому подвиранию и разным фантазиям. Чорт, мол, его знает, куда он завтра повернет. Наполеоном хотел сделаться, в партию вступил, может быть, в монахи пойдет. Я не согласен с такой характеристикой Игонина. Мне кажется, что он теперь навсегда с нами. Если же свои прошлые поиски личного счастья при рассказе он и облекает в полусказочную форму, то кому и какой от этого убыток? Впрочем я пишу тебе об Игонине, как будто ты его давно знаешь. Скажу коротко — есть тут мне помощники.

Завтра в первый раз я собираю ячейку. От разговоров перейду к делу. Я поставлю вопрос прямо — если мы кулака ограничиваем, вытесняем, то мы должны его и заменить, то есть создать вместо его хозяйства свое коллективное. В колхоз, по моему мнению, первыми должны вступить коммунисты. Если завтрашнее собрание пройдет хорошо, то это будет первым моим ощутимым достижением в Белых Ключах. До сих пор я тут только занимался разговорами и охотой.

Хотел написать тебе много, но вижу, что не выйдет. Пришли за мной из сельсовета.

Большой тебе привет, Лия. Жму руки.

И. Безуглый.»

2

У деревни на людей долгая память. Она даже случайного проезжего помнит годы. Безуглого в Белых Ключах никто не забыл. В его избе перебывало все село. Народ толокся у него и в горнице, и на крыльце, и под окнами.

За день до собрания ячейки Безуглый решил скрыться от гостей, чтобы без помехи продумать свой доклад. Освободиться ему удалось только к вечеру. Он взял лампу и ушел в баню. Анна снаружи подперла за ним дверь большим камнем. Оконце она заранее заткнула тряпкой. Безуглый раскладывал на полке бумаги, пока Анна возилась за дверью. Анна ушла в избу. Безуглый услышал стук щеколды. Он в первый раз после приезда в село остался один со своими мыслями. Ему захотелось начать работу с разбора отрывочных записей, сделанных в дороге и в Белых Ключах. Он погладил шероховатый брезентовый переплет записной книжки, раскрыл ее на первой странице.

«Она безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна, вечна и несокрушима. . .»

Карлейль.

Безуглый прочел злые слова англичанина о России и не сразу вспомнил, зачем он их переписал в свой дневник. Запись была сделана в вагоне на маленьком разъезде среди рыжих весенних земель Барабы. Поезд простоял там шесть часов — впереди случилось крушение. Безуглый налегке ушел в степь. Он не увидел на ней ни дыма, ни крыши. До самого горизонта густыми лошадиными гривами колебался на ветру желтый камыш. На озерах синели толстые льды. По берегам татарскими, кривыми ножами скрипела ржавая прошлогодняя осока. Степь молчала, как кладбище. Безуглый неосторожно зашел очень

далеко, и весна посмеялась над ним. Она отстегала его крупным, косым дождем, облепила мокрым снегом. Он побежал к поезду, не разбирая дороги, начерпал полные ботинки воды. На площадке вагона солнце встретило Безуглого насмешливым блеском поручней. Теплый ветер из Казакстана сорвал с него фуражку. Безуглый был обижен на весь мир — в его белье не оказалось ни одной сухой нитки. Его особенно раздражало спокойствие главного кондуктора, с которым тот односложно мычал в ответ на нетерпеливые вопросы о времени отхода поезда. Он тогда именно вспомнил суровые строки Карлейля.

Безуглый задумался. СССР — конечно не Россия. Однако молодая страна еще зияла огромными пустотами необжитых пространств. Из Москвы до Белых Ключей Безуглый ехал трое с половиной суток поездом, почти столько же пароходом и четыре дня лошадьми. До Урала он видел небольшие города с двумя-тремя златоглавыми церквами, соломенные деревни на километр одна от другой, поля в густой сетке межей, узкие ленты лесов. За хребтом, отделяющим Европу от Азии, поезд шел степями, болотами, тайгой. Сибирские селения — богатые, с большими пашнями — были редки и казались только островами в диком океане. Дорогой Безуглый перечитал много книг о Сибири. Он, в сущности, впервые всерьез заинтересовался страной, в которой отбывал каторгу и дрался с белыми.

Безуглый долго водил пальцем по карте советских восточных владений. Невеселая усмешка дергала у него концы губ. Мощный, дремучий материк всем своим страшным грузом висел на тонкой стальной проволоке в семь с половиною тысяч километров. От Челябинска до Владивостока — единственная линия железной дороги. Колесные мощеные пути почти отсутствуют. Реки глубоки и судоходны, но текут в малодоступный Ледовитый океан.

Безуглый поставил в левом углу чистого листа бумаги единицу и против нее написал:

«Бездорожье».

На землях, в два раза больше всей Европы, жили пятнадцать миллионов человек.

Он отметил в своем конспекте:

«Безлюдье».

Фабрик, заводов было мало, значение их ничтожно.

Безуглый в докладе против пункта «Техническая вооруженность Сибири» старательно вывел большой и жирный ноль.

В Сибири — восемьдесят три процента запасов каменного угля всего Союза. Добыча — в несколько раз меньше Донбасса. Белый уголь ставит Сибирь на второе место в мире. Использование — на предпоследнее. Зеленый уголь — в количествах, равных которым нет нигде. Разработка уступает маленькой Финляндии. В одной восточной части Сибири золота больше, чем во всех банках Америки. Золото лежит в земле. В стране с астрономическими цифрами земельных площадей, годных для хлебопашества, зерна собирается меньше, чем на Украине. В стране...

Безуглый не захотел перебирать в своей памяти все несчитанные сокровища Сибири. Он под цифрой «четыре» вычертил только одно слово, отделив в нем букву от буквы длинными тире:

«В — о — з — м — о — ж — н — о — с — т — и».

Сибирь для царской России была вначале «самородным зверинцем, кладовой мягкой рухляди»,[1] потом — поставщицей золота, местом ссылки и всегда заброшенной окраиной. Россия Романовых по мере сил «сводила» сибирские леса, истребляла зверя, птицу, рыбу, грабила и оттесняла с удобных земель коренное население. Она

---

[1] Словцов П. А.

вывозила из своей колонии все, что можно было взять без особого труда и затрат. В Сибири старая Россия строила неохотно и плохо.

Безуглый стал по пальцам считать города давней постройки — Тюмень, Тобольск, Тара, Томск, Енисейск, Красноярск, Иркутск. Все они — сплошное дерево. Тобольск и вымощен деревом. Каменные кварталы в них — редкие вкрапления. Из камня обычно воздвигались церкви, тюремные замки, дворцы губернаторов, иногда торговые ряды и хоромы купцов. В старых городах теперь только дотлевали немногие монументальные осколки эпохи завоевания русской Канады. Новые города — широкие, приземистые — были совсем безлики. Безуглому они казались скоплениями деревянных бараков, перенесенных с золотых приисков. Ни водопровода, ни канализации, ни хороших зданий общественного пользования, ни мостовых, ни тротуаров. Даже Новосибирск, нравившийся ему, Безуглый называл иногда только строительной площадкой.

Три столетия в Сибири хозяйничал слабосильный и трусливый хищник. Он только поцарапал добротную шкуру своей колонии. Недра ее остались нетронутыми. Он, правда, иногда не надолго пытался добывать и руду. На Алтае были рудники, сереброплавильные заводы, первая и самая древняя в России узкоколейная железная дорога в два километра длиной.

Безуглый вспомнил Барнаул — мертвый центр горнодобывающей промышленности. Строгие корпуса плавилен Демидова полуразрушены. Кирпичной сухой кровью сыплются трещины их толстейших стен. В архиве под пеленой тлена лежат дела колывано-воскресенских заводов. На кладбище крошатся каменные плиты могил горных командиров: берг-гешворенов, унтер-шихтмейстеров и царевых управителей — статских генералов. На улицах часами спит тихая непотревоженная пыль. Около домов зеленеют цве-

тущие лужи. Ночью в садике у собора поют синие соловьи. В темной тишине города позвякивают цепи последних каторжан — четвероногих сторожей.

Бедная, отсталая страна, несмотря на все свои чудовищные богатства.

Безуглый перевернул страницу в записной книжке, прочитал ее, иронически прищурился.

> «Колонии просвещенного общества, утверждающиеся в безлюдной и малонаселенной стране, скорее всякого другого человеческого общества двигаются к богатству и благосостоянию...»
>
> *Адам Смит.*

Он шлепнул ладонью по дневнику и сказал:

— Да, старина, это тебе не Америка, но мы добьемся...

«Кандальная Канада станет страной социализма».

социализма».

Безуглый подумал о препятствиях, которые придется преодолеть Сибири. Царь тут сковывал только людей. Природа — дикая и своевольная — была свободна. Она стояла рядом с городами лохматой тайгой, голыми скалами, горькими солончаками. Стихия, враждебная человеку, наступала на улицы пылью, грязью, лезла травяной зеленью между камнями редких мостовых, грибной ржавчиной разъедала стены, осыпала штукатурку. Человек здесь только бередил, а не укрощал стихию. Она отбирала у него назавтра все, что он завоевывал у нее сегодня. Особенно остро Безуглый почувствовал ее необузданную силу в Бийске, когда ночью возвращался от ямщика в гостиницу. (Он там до встречи с Парамоновым и до заезда к нему на фабрику прожил около суток.)

Безуглый сходил с тротуарных деревянных настилов через каждые пятьдесят метров. Они обрывались в озерообразных лужах, в глубоких ямах, в буграх мусора. С тро-

туаров надо было иногда даже спрыгивать (так высоко они поднимались над землей). Серединой немощеной улицы Безутлый ступал неуверенно. Дорога под ногами податливо прогибалась. Он с опаской смотрел на редкие высокие дома. Ему казалось, что под ними также зыблется почва и что они каждую минуту могут исчезнуть в колыхающейся утробе земли

Безуглый остановился около брошенного, заколоченного дома. Он не знал, куда двинуться дальше — кругом были рытвины и кучи кирпича. Сквозь ставни в покинутых комнатах слышались шорохи, скрипы, размеренный стук водяных капель. Дом медленно разрушался. Безутлый задержал дыхание, прислушался. Со всех концов безлюдной улицы шли такие же тихие постуки, трески, всплески, урчащие вздохи. Он понял, что слушает шумы вечного движения мира, его непрерывных превращений. Он знал, что весь мир живет по одним и тем же законам разрушения и созидания. Ветры, воды, льды непрестанно растаскивают, размывают, разламывают. Земля поворачивает к солнцу то один бок, то другой. Горы и моря на ней меняются местами. В ее неостывшие недра погружаются города, страны, материки.

Безуглый взглянул на небо. Бесчисленные миры светились в недоступной вышине. Они возникали, исчезали, рождались вновь, чтобы умереть, гибли, чтобы опять возродиться из праха. Он увидел вселенную как единый хорошо работающий огромный механизм. Человек показался ему обидно ничтожным.

Безуглый написал в тезисах к докладу:

«Сволочь природа».

В двух словах он соединил — и гнев, и восхищение.

На окраинах Бийска, за неустроенными улицами, за темными домами, поставленными на полквартала один от другого, Безутлый увидел мир, в котором человек чело-

веку — медведь. Дома с глухими ставнями на железных болтах, с островерхими заборами в колючей проволоке стояли рядами неприступных фортов. Гарнизон каждого из них готов защищать до последнего вздоха единственную свою святыню — священнейшую частную собственность. В убогих кварталах небольшого города перед Безуглым встал весь мир с его частоколами границ, с вооруженными лагерями — великими и малыми державами. Магафор и Милодора, как Адам и Ева, трудились у истоков его истории. Топор убийцы и захватчика был для него ключом к благосостоянию. Мир был построен на законах так называемого свободного соревнования. В нем наиболее культурной и передовой страной поэтому считалась та, которая располагала самой дальнобойной артиллерией. В этом мире путь к обогащению был открыт каждому, кто поднимал топор и обрушивал его на голову ближнего.

Безуглый в своих докладах, когда ему надо было давать характеристику частной собственности, всегда приводил одно примечание Маркса к главе о первоначальном накоплении. Он помнил его дословно.

«Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличности достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 проц., и капитал согласен на всякое применение, при 20 проц. он становится оживленным, при 50 проц. положительно готов сломать себе голову, при 100 проц. он попирает ногами все человеческие законы, при 300 проц. нет такого преступления, на которое он не рискнул бы. . .»

Безуглый читал и писал до рассвета. Он не слышал, как Анна открыла дверь. Она вошла, чихнула, взглянула на мужа и захохотала.

— Рожу-то вытри, докладчик. В саже весь, как негра. Лампа-то у тебя тут наработала, в пору мясо коптить.

Безуглый схватился за лицо, посмотрел себе на руки и загоготал следом за Анной. Она толкнула его в спину.
— Иди в реку, вымойся.

Безуглый вышел из бани.

На собрание ячейки Безуглый с Анной пришли первыми. Михей Хромыкин отпер им просторную избу сельсовета и ушел домой пить чай. Он был уверен, что собрание раньше, как через час, не начнется.

Безуглый разложил на столе свои бумаги. Анна, аккуратно подвернув юбку, уселась напротив.

На другой стороне улицы остановился Бидарев. Анна увидела его в окно и показала Безуглому. Он простоял не менее пятидесяти минут. Его облило дождем, обсушило и снова вымочило, — он не пошевелился. Старик сосредоточенно смотрел в землю и молчал. Анна сказала мужу:
— Семен Калистратыч у нас такой, где его мысли большие пристегнут, там и встанет. Другой раз часа два и более простоит столбом. В бане он все пишет, не хуже тебя. Летошный год была с ним оказия...

Анна прикрыла рукой смеющийся рот.
— День цельный он писал, в вечеру вытопил банешку, выпарился, а одеться забыл. Вышел на улицу, в чем мать родила, и стоит в сильных размышлениях. Ребятишки собрались, срам. Он ровно неживой, — ничего не слышит. Ум у него очень пронзительный, только кончик, самая острая умственность-то и загинается. Затвердил одно — сейте. Ну, а кто будет железо на плути добывать, не объясняет.

Анна взглянула в окно.
— Самому графу Толстому писал, знакомство с ним вел.

Безуглый усомнился.

— Мне кажется — лично он не был знаком с Толстым?

Анна удивилась вопросу Безуглого. В Белых Ключах знакомство Бидарева с Толстым считалось неопровержимым фактом.

— По-моему, Семен Калистратович со Львом Николаевичем никогда не встречался. Они только переписывались. Книгу Бидарева, в Париже изданную, верно Толстой читал и многое из нее взял для своей проповеди земледельческого труда.

У Анны вздрогнули руки.

— В Белых Ключах у любого старика спроси, правду я говорю или вру, скажет — правду, в Бийске они встретились.

Анна посмотрела на Безуглого. В глазах у нее блестела обида.

— Иван Федорович, хочешь расскажу?

Безуглый уткнулся в бумаги.

— Расскажи.

Анна оправила на голове платок, опустила голову.

— Однова посылает Бидарев Толстому письмо, ты, мол, сам ко мне приезжай, тогда и поговорим, а то что по бумаге-то нарозговариваешь. Толстой берет билет и едет по чугунке. До Бийска доехал, а дальше не может. Ревматизьм, что ли, у него был. Все-таки нежный человек. Пишет он Бидареву, зовет его в Бийск, дескать, так и так. Ну, конечно, Семен Калистратыч собрался и поехал. Встретились они, и пошла же тут у них катавасия. Бидарев под конец уж криком кричит на Толстого и кулаком стучит по столу: «Ты, — говорит, — пишешь-то гладко, тоже зубы заговариваешь, а сам-то в графья записался, сам-то не работаешь. Ты, — говорит, — сроду-то когда косил, нет? Серпом-то пробовал поелозить? А? Ты, Толстой, тож работай, как я работаю». Толстой это не осерчал. «Правда, — говорит, — Семен Калистратыч, вечный

работник и земледелец теперь я буду». Уехал домой, да с тех пор, до самой смерти, как крестьянин жил. Посконную рубаху носил, косил, жал, без седла ездить даже стал. Ребят начал учить, как наш Семен Калистратыч учит. А от жены в раздел ушел, в избушку.

Безуглый достал в красном уголке с полки энциклопедический словарь, отыскал страницу, посвященную Бидареву, быстро пробежал ее и сказал Анне:

— Видишь, тут ничего не сказано о встрече в Бийске. Зато здесь есть ответ на твой вопрос: кто будет железо добывать, если все станут сеять.

Безуглый прочел вслух:

«Основная мысль учения Бидарева — утверждение закона «хлебного труда»; все, без исключения, должны «работать своими руками хлеб, разумея под хлебом всю черную работу, нужную для спасения человека от голода и холода...»

Анна оттолкнула от себя том словаря.

— Кто писал, не знаем, а мы, дураки, читаем.

Она встала, торопливо пошла к двери. У порога оглянулась и крикнула:

— Машину он опровергает! Какой ты нашел у него ответ? Никакого он ответа-совета человеку не даст, хоть год на одном месте простоит!

Безуглый не смог удержать улыбку. Анна с силой хлопнула дверью.

Безуглый привык к резкости Анны. Она немного стеснялась его только в первые дни встречи. С тех пор, как он заговорил с ней о партработе в Белых Ключах, она точно взяла его за руку и повела по селу. Анна слушала мужа с покорностью ученицы, когда он говорил о городе. В делах деревенских она не любила его возражений. Он

сначала не доверял ей, думал, что в своих оценках она пристрастна. Он расспрашивал Игонина, Улитина, Помольцева, коммунистов, беспартийных и вынужден был признать, что Анна в деловых отношениях свободна от личных симпатий и обид. Жена говорила ему:

— Кого ты тут знаешь? Один у тебя дружок — Андрон-кулачок. Ты меня слушай.

Безуглый с каждым днем все чаще прибегал к ее советам. Она распутала ему весь клубок родственных и кумовских хитросплетений в селе. Он поэтому был совершенно спокоен за хлебозаготовки. Его никому не удастся обмануть.

В избу начали входить коммунисты. Игонин прошел со своей трубкой от двери до стола, и сразу надымил, как паровоз. Все подавали Безуглому руки и расписывались на сером листке бумаги. Безуглый потягивал свои светлые подстриженные усы, дружески улыбался, кивал головой. Вернулась и Анна. Она озорно повела на мужа глазами, закрыла концом платка губы и сказал ему:

— Сходила понужнула акуратистов наших партейных.

Безуглый оглядел скамьи. Он знал в лицо всех коммунистов и комсомольцев. Все были в сборе. На собрание набралось много и беспартийных. Они сидели на подоконниках, на полу в проходах около стен, толкались в дверях. Безуглый встал, спокойным движением заложил правую руку за борт своего потертого френча, левой оперся на стол. Анна увидела, как он вдруг сконфуженно опустил голову. На щеках у него выступили красные пятна. Она не могла понять причину его неожиданного смущения.

Безуглый поймал себя на желании повторить наиболее характерные жесты Сталина на трибуне — правая рука за бортом френча, левая на столе или мерно рассекает воздух. Безуглый не мог сам себе объяснить, почему он вздумал копировать вождя. Может быть, он сделал это

потому, что видел его в последний раз очень близко на пятнадцатом съезде.

Безуглого выручил тонкий, дребезжащий, властный голос Бидарева. Он стоял перед столом президиума, опираясь на свой высокий посох.

— Граждане, сборище ваше не тайное?

Безуглый быстро вскинул голову и ответил:

— Пожалуйста, садитесь, Семен Калистратович, заседание ячейки открытое.

Старик показался ему особенно бодрым. В его синих глазах он разглядел переливчатые, лукавые огоньки.

— Верно говоришь, надо сесть. Не к лицу мне стоять перед тобой, потому по чину я в ровнях с самым вашим большим комиссаром.

Посох Бидарева взмыл вверх и громыхнул об пол.

— Да что комиссар, тебе передо мной стоять надобно, мой хлеб ты ешь, я тебя кормлю от трудов своих.

Безуглый спокойно пошутил:

— Стою, Семен Калистратович.

Старику уступили место на первой скамье.

Игонин, как молотком, стукнул по столу трубкой.

— Федорыч, давай бери слово.

У Безуглого всегда на затылке вскакивал большой, как рог, упрямый вихор. Он говорил, немного наклоняя голову, точно бодался.

— Товарищи, некоторые из вас и многие из беспартийных спрашивали меня, почему вдруг партия решила перестраивать сельское хозяйство, вдруг взялась за создание тяжелой промышленности. Вдруг, видите ли, налетели на деревню уполномоченные по хлебозаготовкам, по коллективизации, и все пошло и поехало. — Должен вас успокоить. В таком большом деле, как хозяйство целой страны, ничего и никогда вдруг не делается...

Безуглый подробно рассказал о первой пятилетке.

— В Белых Ключах мне не без улыбочки кое-кто говорил, что вот, мол, Ленин завещал пролетариату быть в союзе с крестьянством, а вы, мол, начинаете нас ссорить с рабочими. Найдется вероятно немало людей, которые думают, что царству рабочих и крестьян не будет конца. Они забывают, что наша цель — построение бесклассового общества. Советская власть конечно есть власть рабочих и крестьян, но не надо упускать из виду, что она только средство, следовательно, явление временного порядка, а отнюдь, повторяю, не цель.

Он порылся в конспекте.

— Владимир Ильич однажды очень едко высмеял плакат, на котором изображалось беспечальное и вечное царство рабочих и крестьян.

Безуглый поднял к лампе исписанный лист бумаги.

— Значит ли это, что мы хотим ссориться с крестьянством? Вовсе нет. Союз рабочих с трудовым крестьянством в нашей стране был и будет, пока мы не уничтожим классы. Вот только ведущая роль в нем была и останется за пролетариатом. Мы не ссориться собираемся с крестьянином, а хотим помочь ему перестроить свое хозяйство на коллективных началах.

Безуглый говорил с обезоруживающей силой. Он был человеком убежденным. Его теоретическая подготовленность, сложенная с практической деятельностью, давала ему и широту кругозора, и целеустремленность. В партии его считали крепким коммунистом. В подполье, в Красной армии, в хозорганах он работал и рядовым, и командиром, и в обозе, и на передовых позициях. Не было случая, чтобы он отказался от какого-нибудь партийного поручения или его не выполнил. В очень трудные минуты он только сам себе говорил вслух — препятствия, преодоление, победа.

В темных, древних глубинах его мозга, как и у всякого человека, конечно, еще жили и зверь и собственник. Он вел с ними упорную борьбу.

Слушали Безуглого внимательно. Один раз только его прервал Помольцев. Он обратился к нему с просьбой:

— Федорыч, шибко высоко не заносись, объясняй попроще.

Безуглый рассказал собранию о людях, которые поколение за поколением искали «Беловодье» для всего человечества. Он сказал, что оно найдено. Горы препятствий — позади. Он утверждал, что люди могут быть счастливы, если на новой земле станут жить по-новому.

Собрание хлопало Безуглому долго и дружно. После него говорил Игонин. Секретарь ячейки начал свою речь с хитрого предисловия:

— Товарищи, складно говорить я не обучен, если чего лишнего нагорожу, не взыщите.

Улитин скривил свое желчное, ссохшееся личико, проворчал:

— С первого слова, бесстыдник, врать начал.

— Не знаю, с какого бока мне и начинать.

Игонин пососал потухшую, пустую трубку.

— Начну, пожалуй, с Северных американских соединенных штатов, а почему именно с них, об этом речь впереди.

«Известно вам, товарищи, что работал я на разных местах, ну, между прочим и в животноводческом совхозе. К скоту я с детства привычен. В долге ли, в коротке ли, дают меня в помощь одному ответственному товарищу и командируют в самую ту Америку на закупку племенных быков-производителей и тонкорунных баранов. Американским газетчикам очень удивительно было и вроде как бы неудовольствие какое им получилось от того, что оказался я бритым. Побывал я в Чикаго и в Нью-Иорке.

В Чикаго на бойнях, гляжу, — грязина. Скотина пропавшая тухнет, неубранная. Я раскритиковываю газетчикам ихные порядки. Опять на них находит недоуменность — как так, сибирский мужик грязь осуждает. Напечатали они мои слова и назавтра же произвели в бойне полную уборку».

Игонин налил из графина стакан воды, неспеша напился.

— В Нью-Иорке дома трубами облака боронют. А люди в них живут, никогда солнца не видят. На площадях торговцы-лотошники стоят с раскрытыми ртами и дышат, как собаки на жаре. В воздухе у́ них большая нехватка. Понастроили они много, но зря ума, ровно для того только, чтоб народ мучился. Богатые конечно живут одаль от городов в садах, и дома у них небольшие. Богатством своим они выхваляются на весь свет, а подумать пристально — одинаковое у них с нашей деревней идиотство. В двадцать первом году у нас — голод. У них — фермеры хлеб в море кидали, жгли в паровозах. Где же, думаю, разумность вашей жизни, если вы жилы из себя вытягаете на конвейерах, а что сработаете — в огонь? Какие же вы богачи, если от своего богатства непомерного можете в один день объявиться полными нищими? Никто у вас ни покупать, ни продавать ничего не будет. На горах хлеба пропадете голодом.

Игонин почесал пальцем лоб.

— Газетка с моей фамилией попала в руки известному вам всем односельцу нашему, Пантюхину Алексею. Мы с ним в германскую служили вместе и в плен угодили вместе. Он только после войны прямо из Питера в Америку подался, обиделся, дурной, что его не с музыкой встретили. За морем он и женился на богатой вдове-фермерше.

«Берет Пантюхин билет на самый скорый поезд и катит

в Чикаго. Костюм мне привез и штук шесть галстуков. Евфросинье своей, брошенной с ребятами, накупил барахла цельный чемодан. Таможников наших пограничных насилу уговорил я после пропустить в Сесеер буржуазную материю. Побывал я у него. Пашет он весело на своем тракторе и трубку из зубов не вынимает. Погостили мы с ним и у соседей. Один машины имеет хорошие, другой — того лучше. Большая разница с нашей деревней. Разговоры же совсем с нашими схожие. Почем хлеб? Сколь земли? Когда посеял? Как родилось? Гляжу я на них и так планую своим умом. Наши кулаки крестьянина с земли смазным сапогом выпехивают. Ваши богатеи, фермеры, бедняков тракторами топчут. На машине, выходит, до конца вам ближе. На машину, думаю, и мы скоро залезем. Руль только не в ту сторону завернем. Говорю я Пантюхину: «Алексей, едем домой, на Алтай, в противном случае не миновать тебе сумы». Он воззрился на меня, ровно на дурачка. «Куда, — отвечает, — мне от своего капиталу ехать, чего искать? В старое время мог бы тут продать, деньги перевести и купить в России. Советы, — спрашивает, — собственность на землю отменили? Ну?» Разъехались мы с ним, одним словом, в разные стороны полными врагами».

Ефросинья Пантюхина стояла на другом конце избы, около окна. Она сказала Игонину:

— Фома Иваныч, мужик-то мой беглый письмо прислал, кланяется тебе, пишет, хлеб у них шибко дешев

Игонин посмотрел на ее белый платок и ничего не ответил.

— В обратную дорогу лежу я в каюте. Море в окошко мне хлещет и качает меня, как мать дите. Мысли мои текут по жилам веселым вином. Понял я, той соленой водой едучи, все американское наполеонство. У них кажный в Наполеоны лезет. Кажный хотит весь мир закупить

и распоряжаться, как у себя в лавке. Одна помеха — Наполеонов много и все с ножами друг на друга налетают.

Собрание сидело молчаливое, притихшее. У некоторых рты были полуоткрыты, как у ребят. Бидарев не отнимал от уха руку.

— Из плена вернулся я, товарищи, скучно мне было, из Америки приехал — еще того тошнее стало. Везде, вижу, жизнь на одну колодку сшита. Во всем мире сосед на соседа нож навастривает. У нас тут, бывало, из-за покосов деревня на деревню с вилами наступает. У них народ из-за межей по судам мытарится. От малой семьи до большого правительства — одна песня.

Игонин посмотрел на часы. Помольцев сказал ему:

— Мы не соскучились, Фома Иваныч, высказывайся.

— Об Америке к тому я речь завел, что наши сибирские кулачки с ихними фермерами — родные братья. У американца раб — негр, индеец, случается, и белый бедняк, который из Европы залетит понаслуху о райской заморской жизни. У сибиряка рабы — алтайцы, киргизы и лопатоны из-за Урала. Наши сибиряки потому и быстрее российских мироедов оперялись, форсистее в люди выходили. Не знаю вот только, многие ли из вас помнят, как до железной дороги в Сибири богатые мужики хозяйство свое, ровно чистые американцы, своими же руками разоряли. Захватит, бывало, мужик покос с целую губернию и без ума все лето сено ставит. Спросят его: «Сено продавать будешь?» — «Нет, — говорит, — у нас этого в заведении нет, кому тут его продашь? Косим для своих коней». — «А на конях-то извозом занимаетесь?» — «Пошто, — отвечает, — извозом, сторона наша непроезжая». — «Для чего же коней-то столь держите?» — «Как для чего? Сено возить».

Многие громко засмеялись, зашумели. Безуглый постучал по столу ручкой.

— Придет время, разглядит мужик, что в собственном хозяйстве он и сам, вроде коня на корде, по кругу ходит, схватит топор и ну, скотину свою лупить по лбу.

«С железной дорогой конечно легче стало — есть куда продать. Однако в Америке-то, товарищи, железных дорог множество, а продать все равно некому. Америка-то, она нам показывает, куда мы упремся, если по ее дорожке поедем».

Безуглый ласково хлопнул Игонина по плечу, когда тот кончил и сел с ним рядом.

Бидарев застучал посохом. Все обернулись на него. Он спросил:

— Беспартийным говорить у вас дозволяется?

Игонин встал и объявил:

— Товарищи, слово предоставляется Семену Калистратовичу Бидареву.

Бидарев, вонзая в пол острый свой жезл, медленно подошел к столу.

— Ничего у вас, лжеучители, не выйдет. В колхозах ваших опять человек человеку будет гонителем. Саранчой на поля ваши насядут писцы непашущие, начальство городское с белыми руками, и пожрут труд земледельца. Не разделить вам ни полей своих ни жен. Было все это в Америке и у нас на Молочных Водах между духоборцами.

Безуглый заметил, что слушали Бидарева немногие.

— Веселый, легкий труд ваш на вас же обратится тяжестью непомерной. С прилежанием слушал я Фому Иваныча и так уразумел слова его, что машина американская ни одного человека счастливым не сделала. Был человек рабом у человека, станет теперь рабом машины. Сломайся машина — и человеку напиться нечего, осветиться нечем. Без машины он даже до ветру сходить не сможет, брюхо свое не опростает.

Бидарев ударил в пол посохом.

— А я все своими руками добуду, и никакой у меня нехватки ни в чем не обнаружится, и никакой не заведется роскоши праздной. Надо так сделать, чтобы одна местность в другой не нуждалась, один человек другому в рот не глядел. Когда каждый станет делать все сам, тогда не будет и власти тягостной человека над человеком и не возгорится война разорительная. Сказано в писании: «...Ибо будет в последние дни явлена гора господня и дом божий наверху горы, и возвысится превыше холмов, и придут к ней все народы. И пойдут народы многи и рекут: прийдите и взыдем на гору господню... И раскуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, и не возьмет народ на народ меча, и не будет научаться воевать... И отдохнет каждый под лозою своею, каждый под смоковницею своею, и не будет устрашающего... И изобличит господь сильные народы, даже до земли дальней... Пути его видел и исцелил его, и утешил его, и дал ему утешение истинное: мир на мир далече и близ сущим...»

Бидарев обвел собрание торжествующим взглядом.

— Слышите, глухие, — под лозой с в о е ю, под смоковницей с в о е ю. Вы же, прелестники, хотите отнять у человека поля его, скот его и домы. От труда мирного пахарей на битву возбуждаете, брата на брата и сына на отца ведете.

Бидареву никто не хлопал. Все знали заранее, что он скажет. Старик посмотрел на собрание, на президиум, вздохнул и замахал посохом к двери.

На собрании говорили еще долго. Никто не возражал ни Безуглому ни Игонину. Ячейка решила организовать в Белых Ключах колхоз.

Помольцев спросил Безуглого:

— Федорыч, ужели и коровенку последнюю мне дове-

дется в колхоз свести? Охотник я большой до молока. Без молока и за стол не сяду.

Безуглый не слышал вопроса Помольцева, поэтому ничего ему и не ответил. Он думал о людях, которые начали переделывать мир в одной шестой его части. На золотой от капель смолы стене сельсовета висел портрет Сталина. Илья Дитятин — единственный художник в Белых Ключах — написал вождя на берегу пустынного, замерзшего Енисея. Он шел по снегу смеющийся, в высоких оленьих сапогах, в полушубке и в меховой шапке-ушанке. В зубах у него дымилась короткая кривая трубка. На правом плече лежала рыбачья сеть. В левой крепко стиснутой руке Сталин держал связку больших, жирных осетров. Круглые куски льда на плавниках и на панцыре рыб блестели, как золотые монеты. Безуглый вспомнил позолоту стен Андреевского зала. На трибуну пятнадцатого съезда вышел сухощавый, выше среднего роста человек. На нем — защитный френч, серые штаны и сапоги. На голове у него — нетронутые временем черные пряди волос. Концы усов опущены книзу. Глаза темны и суровы. Лицо — бледно. Он ни разу не повысил голоса, не сделал ни одного резкого движения. Он был спокоен. Он видел, как в обвалах войн и революций, точно в первозданном хаосе, шли горообразовательные процессы, возникали материки нового мира.

Безуглый смотрел на стену избы. Сталин смеялся, курил трубку и играл золотыми осетрами.

Безуглому надо было ехать в Марьяновский рудник на аймачное совещание уполномоченных по хлебозаготовкам; Анне — в Улалу, на областной слет селькоров. Они выехали на одном ходке. Очередную подводу должна была подать Ефросинья Пантюхина. Брошенка не захотела отлучаться из дому, — у нее работали плотники, рубили

новую баню. Она уговорила съездить вместо себя Илью Дитятина.

Безуглый обрадовался, увидев на козлах сероглазого подводчика в широкополой кожаной шляпе. Он теперь только разглядел, что Дитятин — человек немолодой. Ему было верных сорок пять лет. У него резко проступали горькие складки около губ и морщины по всему лицу. Дитятина молодила частая улыбка, потому что зубы у него сохранили свою белизну.

Анна влезла в ходок, уселась, оправила юбку и сказала:

— По бабе-то, поди, горюешь все, однолюб несчастный?

Она объяснила Безуглому:

— Илья Евдокимыч наш один раз в жизни насмелился жениться, за одну юбку спрятался и думает, краше ее во всем свете не сыскать.

Дитятин боком посмотрел на нее с козел и сказал:

— Согласен, Анна Антоновна, со справедливым вашим смехом. Юбок, верно, много, человека вот по мыслям найти трудно.

Анна всплеснула руками и громко засмеялась. В окне напротив, на другой стороне улицы, появилась черная, дремучая борода любопытствующего Мелентия Аликандровича Масленникова. Анна потянула Дитятина за хлястик его кожаной тужурки.

— Агафье своей пятерки за какие такие мысли платишь?

Дитятин смущенно закрутил головой.

— Иван Федорович, простите меня, много я превзошел в своей жизни. Хотите, любой камень вам определю: и откуда он, и какая у него кристаллизация. Добровольным корреспондентом Академии наук СССР имею высокую честь состоять. Одного себя не могу научно объяснить.

Бабушка Анфя открыла ворота. Никита свистнул и хлестнул пристяжку кнутом. Она сыграла задними ногами, рванулась, потащила за собой коренника. Ходок вынесся

со двора на улицу. Дитятин круто повернул влево, натянул вожжи. Лошади побежали ровной рысью.

Разговор возобновился за поскотинкой. Дитятин сел боком, обернулся к седокам.

— Не могу я понять, Иван Федорович, почему мне одна только моя жена мила. Ни на кого, кроме нее, и глядеть не могу.

Безуглый удивился.

— Чего же тут непонятного? Раз любите, значит, и нравится.

Анна фыркнула.

— Жена-то у него особенная — пятирублевая.

Дитятин опустил глаза.

— Жена меня бросила, Иван Федорович, и живет теперь в Марьяновском руднике на легкой вакансии. Попросту сказать, проститутничает.

Дитятин посмотрел на Безуглого своими большими, потемневшими глазами.

— В гражданскую войну она испортилась. Два раза в наше село белые приходили и оба раза жену мою насильничали. Я-то был в отлучке, ходил в партизанах. Избу у нас тоже белые сожгли в наказанье, скот конечно отобрали, все, как полагается. По окончании войны пришел я домой, можно сказать, к чистому, ровному месту, и жена мне дала полный, категоричный отказ: «Ты, — говорит, — все провоевал, ничего у тебя нет. Не нужен ты мне, красный герой, бесштанный».

Дитятин усмехнулся.

— На моем месте другой плюнул бы, выматерился, и дело с концом. Нет, не могу, что хотите, делайте. Приеду на рудник и бегаю за ней, словно жених за невестой. Она ничего, смеется и говорит: «За пятерку я хоть с медведем в постель лягу. Пять рублей за визит, Илья Евдокимович, у вас найдется?»

Дитятин плюнул.

— Анна Антоновна вам правильно сказала: плачу я жене своей за ласку. Другой раз берет она от меня позорную бумажку и плачет, и я с ней зареву. Она гнать меня начнет: «Уйди от меня, от поганой». Я уговаривать стану: «Брось, мол, ты ремесло свое печальное, давай жить вместе». Она вдруг остервится и с кулаками на меня: «Все вы, — кричит, — кобели, одним миром мазаны. Много вас вокруг меня топчется, лапы, ровно на столбик, задираете».

Дитятин отвернулся, смахнул с глаз слезы. Безуглый и Анна молчали. На пяти километрах новой дороги через Отрадную гору не было обронено ни одного слова.

Старой верховой тропой проехал алтаец в белой барашковой шапке. Крупные камни закрывали его до шеи. Безуглый видел только голову всадника. Алтаец ехал рысью. Его шапка качалась большим, пушистым цветком белоголовника. Небо, словно река в троицын день, несло такие же теплые опаловые шапки облачных цветов. Воздух был душист и хмелен, как мед.

На последнем перевале через Отрадную Дитятин дал передохнуть лошадям. Безуглый вылез из ходка. В высокой траве росли пестрые анютины глазки, лиловые кукушкины башмаки, голубые незабудки, золотые жаркие. В стороне от дороги розовели цветущие поляны колючих зарослей маральника, горького миндаля, шиповника. Безуглый лег на живот и стал ползать от цветка к цветку.

Анна засмеялась и крикнула:

— Медведю позавидовал, Иван Федорович, траву-то сосешь!

Безуглый спрятал лицо в цветах. Смех тряс у него плечи. Над ним наклонился Дитятин.

— Иван Федорович. .

Безуглый неохотно приподнялся на колени. Дитятин заставил его подойти к толстой березе у края горы.

Внизу Талица делала крутой поворот, сбрасывала со своей спины седую пену, светлела. На мелких местах было видно дно в разноцветных обточенных камнях. Вода неслась над ними голубыми, прозрачными потоками. Камни дрожали как цветы на ветру. На берегах стояли большие, глубокие каменные чаши. Дожди наполняли их до краев. Мхи делали воду в них похожей на вино — зеленое, красное, золотистое. Девичий ключ, впадавший в Талицу, напоминал пролитую из огромной бутыли пенистую, пьянящую влагу.

Дитятин сказал Безуглому:

— Умирать сюда приеду, Иван Федорович. Веселей нашего Девичьего плеса во всем мире места нет.

Он показал рукой на горы.

— Природа тут всегда, ровно на свадьбе, пирует. У меня каждой горе свое названье дадено. Вон самая высокая с белой вершиной — Невеста, пониже ее, темная, кудрявая — Жених, за ним толстая, лысая — Посаженный отец, вот эти две пестросарафанные — Свахи, а там толпятся — Дружки, Полдружки и просто Гости.

Дитятин снова показался Безуглому молодым, как в тот раз, когда он впервые увидел его, возвращаясь с охоты. Дитятин сиял белоснежной улыбкой. Восторг искристыми ключами клокотал в его расширенных зрачках.

— Хребты подлиннее — Кони. Глядите, в гривах у них золотые бубенцы.

Дитятин говорил о жарких.

— А березкам у меня одно прозванье — девушки-хороводницы, плясуньи.

Безуглый увидел, что длинная цепь берез-одиночек на берегу Талицы действительно напоминала хоровод. Березы качались, кланялись и шли с горы на гору.

— Обниму одну красавицу зеленую и не почую, как свет уйдет из глаз.

Дитятин прижался к березе, стал смотреть на реку. От быстрого движения воды в глазах у него начали крутиться берега, тронулись со своих мест горы. Безуглому и Дитятину показалось, что на лице у Невесты зашевелилось снежное покрывало, Жених тряхнул кудрями, Гости буйствовали: бросали под ноги Молодым цветы, в гривах свадебных Коней трепыхались и пели огненные бубенцы. Безуглый отвернулся, закрыл глаза рукой, чтобы остановить головокружение. Дитятин пошел к ходку.

— Ненавижу я, Иван Федорович, кержаков за их тупую любовь к природе. Они ее из одной только выгоды любят. Лес увидят хороший — порубить бы. Поляну найдут красивую — распахать бы.

Безуглый спросил его:

— А вы, Илья Евдокимович, для чего в Академию наук образцы горных пород посылаете?

Дитятин стал медленно розоветь. Он ответил Безуглому только после большой паузы.

— Разработка недр — дело необходимое. Я только против жадности. Сами рассудите, Иван Федорович, мыслимо ли без пощады уничтожать все памятники природы.

Он совсем покраснел.

— За индустриализацию я головой, а, сказать по чистой совести, сердце знобит, как вздумаю, что станется с Алтаем.

Дитятин долго молча разбирал вожжи.

— Народ безусловно на заработках поправится. Спору об этом быть не может. Всего возможнее, тогда и мы подругому на все глядеть будем. Ведь вот смолоду я надеялся богачом сделаться. Золото копал до помрачения рассудка. Не давалось оно, правда, мне. Очень я на судьбу жалобился. В настоящий момент считаю свои неудачи за счастье. Богатому теперь согласно революционной законности дорожка короткая.

Дитятин залез на козлы. Безуглый вскочил в ходок. Ехали шагом. Лошади отлично знали дорогу. Кучеру нечего было делать. Он опять повернулся к седокам.

— Илья Евдокимыч, чего же ты не просишь у Ивана Федоровича динамиту.

Безуглый с недоумением посмотрел на Анну.

— Разве это обязательно?

Анна махнула рукой.

— У каждого проезжего просит.

— Не для себя, Иван Федорович, прошу, для государства. Кварц у нас тут сильно вышел в одном месте. По моим расчетам, должна быть в нем золотая жила. Надо бы попробовать подорвать.

— Очень он, Иван Федорович, динамит обожает. Ладно бы, золото рвал, а то ведь людей юхает, пчел, и тех им зорил.

— Динамитом пчел?

— Однажды взорвал я дикую пасеку. В скале она была. Медведи к ней тропы понабили. Об каменные улья себе все когти пообломали, языки в кровь излизали. Нарезал я пятнадцать пудиков сотового.

— Про первую Агафью расскажи.

— Могу и про первую рассказать, если про вторую рассказал.

— Я гляжу, Илья Евдокимыч, ты с Иваном Федоровичем и разговариваешь за всяко просто, ни одного своего торжественного словечка не вымолвил.

Безуглый спросил:

— Какие торжественные слова?

— Он с приезжим у нас все старается по-ученому разговаривать, начнет другой раз вывертывать — неоднократные поползновения мировой буржуазии не есть отдельные звенья цепи, но суть звенья целой цепи.

Анна хлопнула Дитятина по спине, засмеялась

— Сам себя так оплетет, в такие цепи залезет, что и податься некуда.

Дитятин не ответил на обидный смех Анны, намотал на руку вожжи, уселся поудобней.

— Беспокойный я был человек, Иван Федорович. На одном месте больше году не живал. Могу сказать, по всей Сибири все золотые прииски обошел. За жену ходила со мной мамка приискательская Агафья — первая моя любовь. Надоел я ей, и стакнулась она с одним французским техником по фамилии Шатун. Концессию тогда в Марьяновском руднике держали французы. В один прекрасный вечер иду я со своей милой под ручку, навеселе, расположение у меня ко всем нациям самое доброжелательное. Откуда ни возьмись — мусье Шатун, хвать мою Агафью за руку, задернул ее к себе в квартиру, и дверь на крючок.

Дитятин неожиданно замолчал. Ему явно не хотелось говорить. Рассказ свой он скомкал.

— В рудничной кладовой украл я запальную шашку. Ночью положил ее Шатуну под окно, шнур зажег, сам — в казарму и будто сплю. Голк получился громадный. Все думали, что война, японцы стреляют. Дом треснул, пол расщепало, книги, которые на этажерке стояли, все очутились в стенных пазах. Француза с Агафьей так на кровати и вынесло в окно на улицу. Ей ничего не сделалось. Ему в личность натыкались порядочные щепки. Меня арестовывали, но рабочие показали, что я никуда из казармы не отлучался. Ничем дело и кончилось. Ужасно нахальные были эти французы.

Дитятин дернул вожжи, помахал кнутом.

— Ничего мне, Иван Федорович, не надо. Одна у меня теперь мечта — заработать на коня, насушить сухарей и ездить по горам с ломиком да молоточком, служить нашему прекрасному Советскому Союзу — искать руды, открывать новые минералы.

Навстречу стали попадаться верховые бородатые рыбаки с длинными удилищами. Издали они казались казаками с пиками в руках. Рыбаки ловили рыбу прямо с седла и бросали ее в берестяные паевы, висевшие у них через плечо на расшитых опоясках. Лошади почуяли близость ночлега, прибавили шаг. Село, в котором надо было остановиться на ночь, стояло на полпути между Белыми Ключами и Марьяновским рудником. Дитятин сказал Анне:
— Думаю заехать к Мелентию Аликандровичу Масленникову старшему, середняк он, можно сказать, мощный, у него и корм коням будет, и нам яйца с молоком найдутся.

Безуглый спросил, почему у братьев Масленниковых одно имя. Дитятин ответил:
— Старик, который крестил младшего, был на высоком градусе, вот и напугал — и второго назвал Мелентием.

Лошади остановились у нового большого, пятистенного дома с резными наличниками. Ворота открыл сам хозяин. Он был с братом на одно лицо. У него только в бороде запуталось больше серебряных нитей. Хозяин поклонился.
— В горницу прошу, гости богоданные.

На столе зашипел ведерный, сверкающий медью самовар. К чаю не было подано ни хлеба, ни молока. Мелентий Аликандрович сучил обеими руками бороду и смотрел в пол.
— Извиняйте, граждане, угощать нечем. Люди вы грамотные, сами знаете, что в настоящее время крестьянин лишний хлеб сдает государству.

В дверях стояла хозяйка — худая, старообразная женщина с длинным, некрасивым лицом. Она кланялась гостям и причитала:
— Хлебушка и духу не осталось, все повыгребли. Коровушка молочка убавила. Курочки не кладутся.

Хозяйка горестно сложила руки на животе

— Как и жить будем с малыми деточками...

Анна, пряча смех в опущенных глазах, сказала Дитятину:

— Илья Евдокимыч, тащи из ходока мою корзинку с хлебом.

В дальнем конце улицы зазвенели бубенцы. Хозяин высунулся в окошко и сразу засиял, точно его с головы до ног облили лаком.

— Прошу вас, граждане, выйти вон. Недосуг мне с вами чаи распивать. Англичане ко мне едут.

Он заторопился к двери, жадно захлебнулся

— Медку прошлый раз подал, ково там, чепурышечку с горстку, три рубли дали. Огурец соленый, какая в нем корысть, — рупь. За ночевку полста отвалят.

Три тройки въехали во двор. Мелентий Аликандрович метался от крыльца к лошадям, затаскивал в сени тяжелые чемоданы с пестрыми наклейками заграничных отелей. Глаза его источали масло, борода готова была мести землю под ногами гостей, спина выражала страстное стремление угодить, руки раболепно и алчно дрожали.

Среди англичан была жена главного представителя фирмы — высокая, рыжая миссис Фрайс. Мистер Фрайс, плотный блондин в клетчатых брюках, выскочил первым из экипажа. Он навел на жену кодак в тот момент, когда ее нога в черном шелковом чулке высунулась из-под юбки в поисках точки опоры.

Безуглый и Анна вышли из избы. Дитятин стал запрягать лошадей. Он посмотрел на Масленникова и пошутил:

— На экспорт середнячок старается.

Безуглый проворчал:

— Давайте заедем к какому-нибудь менее мощному середняку.



Хозяйка вымыла пол, расстелила чистые половичные дорожки. Англичане вошли в дом. Мистер Фрайс освежил воздух особой дезинфицирующей жидкостью. Англичан было пятеро, шестой — поляк, управляющий рудником, Станислав Казимирович Замбржицкий, состоял в британском подданстве. За столом мистер Фрайс возобновил разговор, начатый на пароходной пристани и прерванный в дороге. Говорил, собственно, он один. Остальные глотали яичницу с ветчиной и почтительно слушали.

— Русские большевики могут купить в Европе или в Америке любые машины. Они могут построить прекрасные заводы. За деньги можно все сделать. Но я вас спрашиваю, господа, кто у них будет работать? Где они возьмут обученных высококвалифицированных рабочих? Это — первое. Русские, как и все славяне, некультурны и ленивы. Они не в состоянии работать наравне, скажем, с английским рабочим. Это — второе.

Замбржицкий побледнел. Карие глаза его стали совсем черными. Он согласен с мистером Фрайсом. Он считает только нужным заметить, что из славян наиболее действенны и способны к восприятию европейской культуры поляки. Замбржицкий говорит это из чувства объективности, а не как поляк. Какой он поляк? Поляками были его отец и мать. Замбржицкий учился и воспитывался в Лондоне. Он — настоящий англичанин. Мистер Фрайс положил нож с вилкой и сказал:

— Да. Я продолжаю.

Он отхлебнул из металлического стаканчика.

— Русские изделия всегда грубы и низкого качества. Это — третье. Русские товары даже в России дороже иностранных. Это — четвертое. Россия, закрывая свои рынки для иностранцев, лишает работы миллионы рабочих в Европе. Это — пятое.

Мистер Фрайс сделал еще глоток.

— Индустриальный эксперимент большевиков приведет к очень печальным результатам. В России будут стоять новые заводы из-за отсутствия рабочих. В Европе будут стоять старые заводы из-за отсутствия спроса.

Мистер Фрайс улыбнулся. На розовых щеках у него появились пухлые ямочки. Он поднял свой блестящий стаканчик.

— Я пью за великую Британию, которая умеет управлять не только цивилизованными народами, но и варварами.

Служащие фирмы Обьгольдфилдс последовали примеру своего патрона — потянулись к нему с дорожными складными бокалами. Все они были блондины, одного роста и одинаково тщательно выбриты.

Над самоваром возвышалась медная горбоносая голова единственной миссис. Она не пила вина. Миссис Фрайс зевнула, посмотрела на часы. Наступало время сна. Мистер Фрайс вышел из-за стола, стал посыпать стены и пол желтым порошком против паразитов.

С ночовки Безуглый решил выехать раньше англичан. Ему не хотелось собирать пыль за хвостами троек концессионеров. Луна была еще полной, когда Дитятин запряг лошадей. Он сказал Безуглому:

— Лишний раз и мне с ним встречаться приятности мало. В прошлом году высудил я у них Звончиху. Очень золотоносная речка. Они ее совсем было зачертили в план своей концессии. А она и французам никогда не сдавалась в аренду. Я вроде экспертного свидетеля выступал.

На переправу через Талицу приехали до рассвета. Луна с шумом низвергала свое жидкое серебро на заснеженные горные вершины и в воду реки. Серебро плыло серединой. У берегов вода была черна. В черном лесу за рекой журавли чуть слышно играли предутреннюю песню.

Безуглый и Дитятин долго по очереди вызывали перевозчика. Он спал на другой стороне. Безуглый хватал воздух всей грудью и весело огогокал. Воздух был пропитан рассветной чистотой и свежестью, хлебнув которых, человек становится моложе.

Лодка перевозчика не могла вместить и людей и ходок. Решено было поэтому в первую очередь переправить лошадей. Анна и Дитятин сели в посудину, держа в поводу по коню. Безуглый с разобранным ходком остался на берегу. Лошади погрузились в воду по уши и быстро поплыли. Безуглый до середины реки слышал их осторожное пофыркивание и окрики Анны:

— Ну ты, балуй!

Дальше он только видел на светлом серебре воды черное пятно лодки и темные очертания трех людей.

Недалеко от берега пристяжка сильно дернула повод. Анна свалилась со скамьи. Лодка закачалась, черпнула всем бортом и пошла ко дну. Река сомкнула над головами людей тяжелую воду. На поверхности не осталось ничего. Безуглый не мог разглядеть даже морды лошадей. Человек стоял совершенно один на краю шумящей обледенелой серебряной пустыни. Холод сковал у него все тело. Он закричал протяжно и хрипло. Над лесом взмыла пара журавлей. Безуглый услышал певучее курлыканье, увидел спокойные взмахи птичьих крыльев и сам приобрел способность двигаться. Он быстро сел, стал срывать с себя тяжелые сапоги. С другого берега донесся звонкий голос Анны:

— Чего орешь, дурной, выплыли мы!

Безуглый расслабленно лег на камни. На бледном диске луны он снова увидел черных журавлей. Они кричали ему, как старые знакомые. Безуглый блаженно улыбался. Земля теплела, наполнялась суетой живых существ, шелестом трав и листьев. На другой стороне

Анна привязывала к дереву мокрых, ржущих лошадей. Дитятин с перевозчиком в километре от переправы отливали пойманную лодку.

Безуглый переправился без приключений. Анна озябла во всем мокром. Она спряталась за его спину, сказала:
— Иван Федорович, загороди меня.

Женщина стала переодеваться. Она пропела ему в ухо:

Милый мой,
Замерзла я.
Закрой полою,
Я твоя...

Вдали пылили тройки концессионеров. Дитятин бросился к лошадям, начал торопливо запрягать. Безуглый воровато оглянулся на него и, улучив минуту, стремительно поцеловал Анну в смеющийся рот.

Перевозчик скрипел веслами навстречу англичанам.

Англичане обогнали пару буланых Ефросиньи Пантюхиной у самой околицы рудника. Безуглый ворчал и плевался. Он знал, что сдача недр в концессию иностранцам — дело, начатое еще Лениным, и все же не мог подавить в себе глухого недовольства.

Талица около Марьяновского рудника текла медленнее, мутнела, зеленела. Можно было подумать, что в ней растворяется зеленая руда, кучками лежавшая на берегах, на улицах и на площади поселка. Куски редкостной, тяжелой, полиметаллической руды валялись всюду. Из них складывали в укромных местах тайные очаги для варки самогона, ими укрепляли ямы погребов и уборных, мостили тротуары.

Концессионеры тут несколько лет занимались только геологическими изысканиями, кустарной добычей золота и мелкой починкой дорог. Они даже не откачали воду из шахт, затопленных их предшественниками — французами. На рудник не было завезено ни одной новой машины.

Англичане кое-как пустили старую электростанцию и сдали от себя в аренду русским старателям небольшую шаровую мельницу. Старатели мололи руду и мыли на ручных бутарах драгоценный порошок. Шесть миллионов пудов руды, содержащей золото, серебро, свинец, цинк и медь, мертвым грузом лежали на поверхности. Рудник был пуст наполовину. Многие дома стояли с заколоченными ставнями и дверями. Громоздкие корпуса обогатительной фабрики зияли мертвыми дырами выбитых окон. Высокие кирпичные заводские трубы не дымились более десяти лет. На месте вышек над шахтами торчали маленькие будочки, похожие на деревянные нужники.

За поселком горы синели, как граненые ларцы, полные сокровищ. Цветные металлы и самоцветные камни праздно лежали в земле.

Мистер Фрайс зашел в кабинет к своему управляющему. Он ждал ванну. У него было пятнадцать минут свободного времени. Англичанин сел в мягкое кожаное кресло, оглядел просторную, хорошо обставленную комнату.

— Россия — страна невероятных контрастов. Однажды, до революции, в гостях у помещика я почувствовал себя как в Европе. Обстановка, стол, язык и манеры хозяев были безупречны. Мне подали вечером автомобиль, чтобы отвезти меня до ближайшей станции железной дороги. На первой миле машина застряла в грязи. Мне пришлось воспользоваться услугами случайного крестьянина с телегой. Я ехал в ужасной колымаге, задрав самым нелепым образом к подбородку колени. Бородатый, вонючий мужик ни слова не понимал по-английски. Он зверски ворочал белками глаз и бессмысленно скалил зубы в ответ на мои мольбы ехать тише. У меня не было уверенности, что мой кишечник останется целым после нечеловеческого испытания на глубоких выбоинах дороги. В деревнях, ко-

торые мы проезжали, я видел отвратительное невежество, нищету и драки пьяных дикарей.

Мистер Фрайс маленькой гильотинкой обрезал сигару, закурил.

— Я не могу спокойно спать в этой дикой стране

Англичанин вытянул ноги, попробовал носком ботинка мягкость медвежьей шкуры.

— Мы постараемся приручить русского медведя. Мы думаем, что большевики вынуждены будут встать на путь цивилизованных народов, или они...

Мистер Фрайс не договорил до конца. Он играл кольцами дыма.

— Человечество вступило на путь разумного сотрудничества на основе справедливых договоров...

Горничная в белом чепце и переднике доложила, что ванна готова. Мистер Фрайс немедленно прекратил разговор.

На совещании уполномоченных по хлебозаготовкам одним из первых слово получил Безуглый.

— Товарищи, общеизвестно, что хлебозаготовки — первое звено планового товарообмена между городом и деревней. Стихия личной хищной наживы должна быть обуздана и подчинена интересам всей страны. Мы не нуждаемся в разжевывании этого давно решенного вопроса. Нам сегодня необходимо поговорить главным образом о методах, которыми мы должны проводить заготовку зерна.

Безуглый не любил во время своих выступлений глядеть в пол или прятать глаза в листках конспекта. Он неторопливо посмотрел на каждого участника совещания. Среди уполномоченных было много безусых людей в защитных юнгштурмовках. Коммунисту понравились лица комсомольцев. Ему захотелось говорить для них.

— Деревня, как вам известно, не может состоять из од-

них только кулаков, поэтому методы голого административного воздействия допустимы по отношению к очень ограниченной прослойке хлебосдатчиков, в первую очередь конечно к злостным неплательщикам. Некоторые из нас, к сожалению, забывают, что среди крестьян есть наши союзники и друзья — середняки, бедняки, батраки. Вот почему в хлебозаготовках мы должны главное внимание отдать массовой разъяснительной работе. Если нам удастся убедить середняка, что ему в конечном счете выгоднее сдача зерна государству, чем продажа его на рынке, то успех хлебозаготовок обеспечен.

Безуглый разобрал не только методы работы. Он говорил о хранении хлеба и о своевременной вывозке его к пароходным пристаням. Руководитель совещания — член областного комитета партии — после него ничего не смог сказать нового. Ему пришлось повторить основные мысли Безуглого. Уполномоченные по другим сельсоветам рассказали об ошибках и удачах в прошлую хлебозаготовительную кампанию. Некоторые вспомнили разверстку двадцатого года как образец неувязки планов. Все указывали на несоответствие в то время заготовок с возможностями перевозок и хранения продуктов.

Коммунисты говорили, не прикрашивая успехов и не преувеличивая неудач.

Совещание кончилось на другой день к вечеру.

Управляющий рудником Замбржицкий до революции жил в Петербурге. В Лондоне он только кончил университет. Замбржицкий принадлежал к российской социал-демократической рабочей партии меньшевиков, сидел в «Крестах» и отбыл три года административной ссылки в Туруханском крае. Из России бежал в сентябре семнадцатого года.

Замбржицкому надо было увидаться с Безуглым. Упра-

вляющий беспокоился за судьбу своих закупок хлеба в Белых Ключах. Они встретились у дверей аймисполкома, куда Безуглый зашел после совещания. Замбржицкий пригласил коммуниста в контору концессии. Деловой разговор иссяк быстро и благополучно.

Замбржицкий предложил Безуглому перейти к нему в кабинет. Горничная подала кофе, фрукты и сигары.

— Вы помните, Иван Федорович, анекдот о большевике и меньшевике, которых жандарм вел вешать и которые спорили так, что забыли убежать в то время, когда палач уснул по дороге к виселице? Жандарм спросонок даже веревки перепутал и повесил меньшевика на большую, а большевика — на маленькую.

Безуглый засмеялся и ответил вопросом:

— Вы разве меньшевик?

Замбржицкий долго раскуривал сигару.

— Нет, я — теперь просто я, свободная, критически мыслящая личность, а общество — лес, в который ваш покорный слуга ходит на охоту.

Безуглый отказался от сигары.

— Мне, Иван Федорович, надоели мои англичане, очень они узкие и ограниченные люди. Немцами про них хорошо сказано.

Замбржицкий пододвинул Безуглому чашку кофе

— Один англичанин — ограниченность, два англичанина — острая ограниченность, три англичанина — мировое правительство.

Замбржицкий улыбался, блестел золотым клыком.

— Немцы и про русских неплохо говорят. Не угодно ли: один русский гениален, двое русских — революция, трое русских — хаос.

Безуглый спросил:

— Вы с этим согласны?

Замбржицкий поперхнулся дымом.

— Мне это просто безразлично.

— Как вас прикажете понимать?

— Я никому не отдаю предпочтения. Мне безразлично с кем бороться, кому служить: против русского вместе с англичанином или наоборот, или против обоих с третьим.

Замбржицкий поднялся, плотно прикрыл дверь.

— Нас никто не слышит. Я спокойно могу говорить, что угодно. Вы мне не страшны, так как у вас нет свидетелей

Безуглый встал. Замбржицкий усадил его в кресло.

— Не будем ссориться. Я неспроста рассказал вам анекдот о большевике и меньшевике. Мне очень хочется поспорить с вами.

Безуглый неохотно возразил:

— Не вижу в этом смысла.

— Жизнь вообще бессмысленна.

Замбржицкий зачастил, не дожидаясь ответов Безуглого.

— Немцы не совсем неправы, когда обвиняют вас в неумении работать. Недавно я прочел в «Правде»...

Он рассказал о ряде случаев небрежного хранения овощей в магазинах и на складах Москвы.

Бывший меньшевик стоял перед коммунистом, заложив руки в карманы брюк.

— Если вы говорите правду, что в СССР грамотных больше, чем в царской России, то тем хуже для вас. Очень вам трудно будет убедить грамотного крестьянина сдавать государству овощи. Он, практик, прочитав вашу же «Правду», не захочет губить плоды своего тяжелого труда.

Безуглый раскрыл рот. Замбржицкий поднял руки.

— Минуточку терпения. В «Известиях ЦИК СССР» сообщалось, как рабочие одного московского завода выехали на субботник в овощной совхоз. Они очень старались и...

выпололи вместе с сорной травой несчастную морковь. Все они оказались потомственными почетными пролетариями, родились и выросли в городе и никогда, естественно, не видели живых овощей на грядках.

Замбржицкий опять поднял руки.

— Я еще не кончил. Вы, большевики, уподобились этим простодушным пролетариям на огороде в своей политике ликвидации классов. Вы дергали без разбора, забывая, что буржуа, — крупный или мелкий, безразлично, — не только эксплоататор, но и организатор. Вы вытесняете теперь капиталистические элементы в деревне, по существу ничем их не заменив. Бесхозяйственные совхозы и худосочные колхозы, надеюсь, в счет не идут

Замбржицкий сел.

Безуглый вспомнил совещание по хлебозаготовкам. Рассказы Замбржицкого о порче продуктов можно было бы дополнить докладами уполномоченных. Безуглый сказал:

— Ваши примеры не убедительны. Они говорят только, что мы еще не всегда умеем работать без ошибок. Однако вы ломитесь в открытые ворота. Мы сами критикуем свои недочеты, осуждаем отдельные случаи неумелого хозяйствования, следовательно у нас достаточно сил, чтобы их устранить. Ничего в этом страшного нет. Вы забываете, что мы учимся. Настоящий ужас, по-моему, начинается там, где люди умеют работать и действительно с большим знанием дела отнимают дно у моря, на осушенной земле сеют пшеницу, а потом бросают ее в... море. Скажите мне, что стоят наши временные неполадки по сравнению с вынужденным организованным уничтожением продуктов в так называемых культурных странах? Если советский крестьянин негодует, и совершенно законно, на наше подчас неумелое обращение с овощами или с хлебом, то что должен делать и думать европейский земледелец или

американский фермер, глядя например на умелое сожжение хлопка?

Замбржицкий оторвался от чашки.

— Кризис — явление временного порядка. А об Америке вы напрасно. Она процветает. Никакого кризиса там не будет даже на самое короткое время.

Безуглый повеселел.

— Может быть, цивилизованные народы и вооружаются временно?

Замбржицкий пожал плечами.

— Разрешите рассказать вам об одной встрече немца с французом, которая произошла вскоре после Версаля в Швейцарии на курорте за чашкой кофе. Беседа двух бывших врагов была напечатана. Они говорили о войне, которая кончилась, и о войне, которая должна начаться.

Безуглый не помнил, когда и где прочел о ней. Может быть, она была измышлена литератором. В ней можно было переставлять действующих лиц. Она не утратила бы своего правдоподобия, даже если бы и была выдумана от начала до конца. Безуглый рассказал:

— Немец — старик с оливковой лысиной и со слабыми коленями — говорил своему коллеге, юному, черноволосому, темноглазому французу:

« — Война последняя мало чем отличалась от грубых битв варваров».

Безуглый, подражая немцу, покачал головой.

« — Зачем эти оглушительные взрывы, раздражающий вой снарядов, неприятный визг пуль? Газ полз по земле, извивался и душил, как грубое животное. Люди умирали в муках».

Безуглый склонился над чашкой.

« — Варварство».

Он отхлебнул кофе.

« — Война просвещенных народов должна быть бесшум-

ной. Ни одного разрушенного здания, ни капли крови, ни одной раздробленной кости. Газ будет благоухать, как летнее утро на цветущем лугу. Авиатор сбросит над вашим Парижем несколько изящных шелковых бомбоньерочек. Они не будут похожи на громыхающие стальные бомбы. Они раскроются тихо, как бутоны».

Безуглый представил, как немец потирал руки.

« — Рано утром вы прямо с постели подойдете к раскрытому окну. Воздух покажется вам особенно свежим и бодрящим. Вы даже и не подумаете, что ваше тело всеми своими порами впитывает смертельную отраву. Днем вы неожиданно ослепнете. Вам покажется, что потухло солнце. Отчаянию вашему не будет предела. Зрение через несколько минут вернется. В душе у вас поселятся страх и неуверенность. Вы почувствуете, что находитесь во власти каких-то страшных сил и что бороться с ними вы не в состоянии.

«Старик посмотрел на своего собеседника. Француз был бледен. Кофе стыло у него в чашке.

« — Вечером вы отправитесь на свидание к своей Жор жетте.

«Немец захихикал.

« — Вашим объятиям не суждено будет разомкнуться. Вы умрете оба. Весь Париж — мужчины, женщины, дети, старики, старухи, собаки, кошки, лошади — вдруг оцепенеет навеки. Вы понимаете — огромный город, и ни одного живого существа. Умрут деревья, трава и цветы. Они все станут одного цвета — серые. В городе не останется ни зеленых, ни красных крыш, ни пестрых вывесок — все будет только серым.

«Француз торопливо заметил:

« — Старики и дети не воюют, следовательно, умерщвление их — бессмысленная жестокость.

«Немец долго смотрел на него, жуя губами, потом сказал:

« — Войну ведет вся нация. Истребление одних только боеспособных мужчин, по-моему, менее справедливо.

«Француз вскочил из-за стола, взволнованно прошептал:

« — Война ваша — абсурд. Ее никогда не будет.

«Немец поглаживал свои острые колени и улыбался. В зубах у него блестело золото».

Замбржицкий скривил губы.

— Ах, как страшно! Вы меня очень напугали. У вас, оказывается, незаурядный талант рассказчика.

Безуглый продолжал.

— В мировую войну в каждой воюющей стране говорили: «Война эта справедливая, освободительная и последняя. Победим — и все разбогатеем». После войны: «Получим контрибуцию и тогда будем счастливы». Победители: «Немцы не платят, оттого и жизнь плоха». Побежденные: «Непосильные платежи, мы разорены». Победители: «Надо заставить платить». Побежденные: «Необходимо сбросить бремя долгов». Одним словом, почва для реванша готова. В новой войне победители могут поменяться местами с побежденными, чтобы в следующей схватке занять свое прежнее положение. Так после тридцатилетней войны Эльзас-Лотарингия отошла к Франции, в 1871 году — к Германии, в 1918 — снова к Франции.

Замбржицкий засмеялся.

— Могу вас дополнить. Германия под Ватерлоо дралась в союзе с русскими и англичанами. В последнюю войну — против них. В семилетнюю войну — против Австрии. В четырнадцатом году — вместе с ней. Россия воевала с Францией и Англией и потом была их союзницей. Она боролась с Японией в 1904 году и через десять лет выступала совместно с ней. История всего мира есть история войн всех против всех. В XIX столетии человечество провело в войнах 88 лет и только двенадцать жило мирно.

Отношения между людьми покоились искони на одном принципе: «Я скушаю тебя, чтобы ты не проглотил меня». Прибавим сюда еще одно непреложное положение — дивиденд. Остальное — условности. Немец Крупп, продававший англичанам снаряды во время войны Германии с Великобританией, — блестящее тому доказательство.

Замбржицкий резким движением правой руки остановил Безуглого.

— Не возражайте. Я знаю ваши громкие слова — классовая борьба, пролетариат, Интернационал. Все, что вы мне скажете, старо. Руссо, Кант и другие еще до Маркса ставили проблему вечного мира. Кант в его трактате «Zum ewigen Frieden» требовал создания в Европе «Федерации свободных республик». Никогда из этого ничего не выходило и не выйдет. Социализм с его наивным «каждому по потребностям, с каждого по способностям» мне прямо смешон. Удовлетворите вы меня, пожалуйста, когда я потребую, как китайский император, холодное из соловьиных язычков или, как Чингиз-хан, попрошу у вас триста шестьдесят пять девушек в год, или наконец пожелаю пройтись по Европе, подобно Наполеону.

Безуглый успел сказать:

— У вас тогда пропадет аппетит к таким вещам.

Замбржицкий посмотрел на собеседника. В глазах поляка мелькнула усмешка.

— Я угадываю благочестивые мысли коммунистического проповедника. Не трудитесь высказывать их. Вы сами только что дали опровержение всем социалистическо-пацифистским бредням своим рассказом о встрече француза с немцем. Что? Опять рабочий класс?

Жирные, бритые щеки Замбржицкого дрожали от хохота.

— Никакого рабочего класса не было и нет. Есть просто

имущие и неимущие, работающие на производстве и организаторы производства, причем каждый последний бедняк хочет и может стать Морганом, Ротшильдом. Частная собственность — переходящий приз. Его можно захватить любыми средствами — обмани, ограбь, уничтожь тысячи соперников. «Все джунгли твои. И ты можешь убивать все, что в силах будешь одолеть». Кто сказал, что это безнравственно? С точки зрения слабого конечно да, безнравственно, сильный же законно считает, что ему все позволено. Жизнь тем и прекрасна, что безвестный сегодня полковник Бонапарт завтра будет провозглашен Наполеоном, императором французов. Мало тебе Франции — иди и воюй всю землю. Она отдается всякому, кто ее сможет взять. В крепко сшитом так называемом старом мире каждый нищий, даже умирая, еще не теряет надежды сделаться миллионером. Вот в чем его огромная сила. Что можете вы предложить мне взамен всех этих соблазнов? Партмаксимум как идеал индивидуальных достижений? Западные социалисты не поддержат ваших ребяческих попыток переделки мира.

Безуглый насмешливо бросил:

— Это, которые голосовали за военные кредиты?

Замбржицкий сделал вид, что не слышал замечания собеседника.

— Для них слова «Коммунистического манифеста» звучат реакционно. «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»? Неверно. У них есть своя легальная партия, профсоюзы и демократия. Они даже на серьезную стачку не пойдут.

Безуглый крикнул:

— Стачка английских горняков!

Замбржицкий не ответил.

— Европейский и американский квалифицированный рабочий — рантье.

Безуглый перебил:

— Скоро он убедится, что его сбережения — просто-напросто бумага, которой спокойно можно оклеивать стены.

Замбржицкий упрямо выставил вперед свой круглый подбородок.

— Поэтому, когда волна кризиса начинает покачивать лодочку его сбережений, то он в страхе бежит в церковь и молится об избавлении капитализма от всех его болезней.

Безуглый спросил:

— Значит, да здравствует война всех против всех?

Замбржицкий подошел к нему и сказал:

— Новая война неотвратима, поэтому неразумно пугаться ее или запугивать ею. Вы правы, может быть, все мировые столицы будут обращены в сплошные кладбища, не исключена и возможность гибели целых стран. Человек второй раз будет наказан изгнанием из рая за свое дерзкое желание знать все. Наука — вот главный враг современного человечества. Мы можем только пожелать, чтобы она скорее сама себя погребла под развалинами ею же созданного мира. Уцелевшие будут счастливы. Они еще раз начнут старую историю голых людей на голой земле.

Безуглому только на одно мгновение стало страшно, потом он рассмеялся и взял из вазы большую грушу.

Замбржицкому не нравилось спокойствие Безуглого, с которым тот выслушивал все его выпады. Поляка особенно раздражало нежелание коммуниста спорить с ним. Замбржицкий подумал, что Безуглый нарочно подчеркнуто громко чавкает и захлебывается соком груши. Он конечно рассчитывал этим показать свое полное пренебрежение к нему. Замбржицкому захотелось вывести Безуглого из равновесия. Он спросил:

— Вы знаете английский язык?

Безуглый вытер рукой мокрый рот.

— По печатному мало-мало маракую.

— Советую вам прочесть, если у вас хватит для того знаний, труд замечательного современного английского философа Бертрана Росселя «Icarus or the Future of Lcience». Вы тогда бы увидели, что все сказанное мною разделяется лучшими мыслителями нашего времени.

— Буржуазными мыслителями?

— Наклеивание ярлыка не меняет сущности дела.

Замбржицкий схватил спичечную коробку. Рука у него заметно дрожала. Он стал зажитать потухшую сигару.

— Если вы прочтете Бертрана Росселя, в чем я впрочем сильно сомневаюсь, потому что для такого чтения нужно серьезное знание языка, а не мало-мальское...

Безуглый иронически поклонился.

— Вполне разделяю ваши сомнения.

— Бертран Россель очень убедительно доказал, что дальнейшее развитие науки и техники приведет к господству над миром немногих выдающихся людей. Военный мыслитель генерал Фуллер даже считает, что войну в будущем будут вести несколько гениальных умов, управляющих вооруженными машинами.

Безуглый зевнул.

— Фуллер упустил из виду только один пустячок. Он забыл, что машины делают рабочие, огромные массы людей, и что, если они...

Замбржицкий заткнул уши.

— Не повторяйте избитых общих мест об особой, сверхчеловеческой миссии пролетариата. После Шпенглера смешно всерьез говорить о Марксе. Никогда людям не изжить их «свинцовых инстинктов». Чье это выражение? Спенсера? Да.

Замбржицкий, как старьевщик своим товаром, гремел перед Безуглым обломками чужих мыслей и слов. Безуглый почти не слушал. Коммунист решил про себя, что

Замбржицкий в прошлом непременно был меньшевиком Очень он сыпал цитатами.

— Бертран Россель думает, что наука грозит стать причиной разрушения нашей цивилизации. Он видит, что единственно твердая надежда как будто покоится на возможности мирового владычества какой-либо одной группы, скажем Соединенных штатов, что, по его мнению, приведет к постепенному образованию упорядоченного экономического и политического всемирного правительства. Но, может быть, говорит он, имея в виду бесплодность Римской империи, следует в конце концов предпочесть гибель нашей цивилизации такой альтернативе.

Безуглый взял вторую грушу, откусил у нее сразу полбока. Сладкий, бунтующий сок брызнул ему на пальцы.

Замбржицкий бегал по комнате. Во рту у него сверкал зуб, одетый в золотую броню. Безуглый смотрел на поляка и спокойно молчал. Его не смущали рассуждения Замбржицкого. Он знал, что мир не един. Мир делился на господ и рабов. Накануне новой мировой войны господа вынуждены были принять меры для успокоения рабов. Они клятвенно заявили о своем желании начать разоружение. Безуглый не сомневался, что скоро настанет день, когда рабы не поверят никаким клятвам господ.

Коммунист встал, поклонился поляку, пошел к двери. Замбржицкий закричал:

— Подождите, я еще не кончил!

Безуглый отмахнулся. Замбржицкий загородил ему дорогу. Бывший меньшевик был мал ростом. Большевик сверху вниз смотрел на его небольшую круглую лысину и едва удерживался от мальчишеского желания хлопнуть по ней ладонью. Нарядный, надушенный человечек топтался на месте, поднимал и опускал руки в блестящих белых манжетах. Он показался Безуглому хорошо сделанной заводной игрушкой.

— Ну, где же выход, скажите мне?

В голосе спрашивающего совсем не было уверенности. Безуглый потянул себя за ус, сказал:

— Он давно найден.

Домой Безуглый возвращался один, верхом, другой дорогой. Он решил сделать крюк, чтобы заехать на заимку Поликарпа Петровича Агапова — своего первого учителя. Агапов раньше жил в Тамбовской губернии, был младшим конторщиком в имении графа Воронцова-Дашкова и ту же должность занимал в совхозе, организованном на землях сановного помещика. Он выучил Безуглого грамоте и до отъезда Дарьи с сыновьями в город к дяде Якову давал Ивану читать книжки в красных обложках. Взвод драгун-усмирителей, расквартированный в имении после разгрома первой революции, выпорол Агапова вместе с тремя десятками крестьян из Собаковки. Конторщик тогда перестал интересоваться пламенными брошюрками, сделался толстовцем. Он одел просторную блузу с широким ременным поясом, отрастил бороду, отказался от употребления в пищу мяса и рыбы, начал толковать крестьянам о непротивлении злу насилием. Последний раз Безуглый виделся с Агаповым у деда в начале двадцать второго года. Конторщик мечтал сесть на землю, расспрашивал об Алтае. Безуглый из писем матери знал его точный адрес. В аймисполкоме поэтому он о нем не справлялся. В Белых Ключах о Поликарпе Петровиче Безуглый ни с кем тоже не разговаривал. Коммунист, таким образом, не знал, что Агапов давно нашел проповедь яснополянского отшельника слишком узкой для себя. От своего последнего увлечения он сохранил только толстовку с большими карманами.

Безуглый помешал самым сладостным занятиям Агапова. Бывший конторщик сидел за столом, постукивал на счетах, разносил по книге остро заточенным карандашом

цифры своих расходов и доходов. Он записывал сначала молоко, затем, сколько из него вышло масла, и наконец деньги. Расходы были копеечные, доходы рублевые. Рука с сорочьей проворностью перескакивала со строки на строку. Цифры итогов всегда умиляли хозяина. Он обычно подолгу смотрел на них, потом начинал перелистывать толстую книгу счастья. На очках и на лысине у него в это время горели веселые солнечные зайчики.

В книге у Поликарпа Петровича записывалось, сколько коровы съели сена и какой у них удой, количество ульев, с точным наименованием — Дадан, Рутт, местная колодка, и вес собранного меда, десятины посева и пуды урожая. Осенью Агапов писал: «Поставлено скота на зимнее содержание в составе — быка Идеал и коров Фея, Русалка, Мечта. За лето прибыло весу у Мечты, у Русалки...» Скотный двор, конюшня, птичник, пасека, амбар были отражены, как в зеркале. Велись и записи народных средств от ломоты в пояснице, от куриной слепоты, от лихорадки, выписки из книги «Подарок молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», собирались способы изготовления клея для посуды и другие полезные сведения. Иногда Поликарп Петрович заносил в книгу свои размышления или просто писал о состоянии погоды. В первый день приезда на Алтай, 3 июня 1922 года, кратко отмечалось: «Погода очень хорошая. Сам себе поставил вопрос о двух конях. Один — английский, его выводят на поводу, кормят; другой — дикий. На одном ездят, в узде держат, другой — сам себе хозяин. Какому можно позавидовать? Видел члена райкома ВКП(б) товарища Иванова».

Во время набега генерала Мамонтова под окнами у Агапова стонал раненый красноармеец. Поликарп Петрович ничем ему не помог. Он только написал в книге счастья:

Голова у него вся порублена,
Грудь у него вся изранена.
На груди у него красный бант горит,
В головах у него конь вороной стоит...

Красноармеец ночью заполз на крыльцо и скребся в дверь. Поликарп Петрович положил на ухо подушку. К утру раненый истек кровью.

Агапов каждый раз, когда перечитывал эти строки, вытаскивал носовой платок и вытирал помутневшую бирюзу глаз.

Безуглый слез с коня около ворот. Хозяин вышел на крыльцо босой, в серой парусиновой толстовке, без пояса. В рыжих нечесаных кустах его бороды появились белесые клочья. Он отпер хитроумный деревянный запор и принял у гостя повод коня.

— По твоим рассказам, Ваня, избрал я себе местопребывание. Помнишь, ты мне из всего Алтая указывал на окрестности Белых Ключей?

Безуглому вдруг не понравилось, что Агапов назвал его Ваней.

— Теперь я понял, что Сибирь-то у нас, в Тамбовской губернии, а тут самая настоящая жизнь.

Поликарп Петрович зажмурил глаза, мотнул бородой и крякнул.

— Гм-км...

Острый вздернутый кончик его носа был масляпист и красен.

— Человеку с умом да непьющему на здешних землях за пять лет можно выйти в большие тысячники.

Безуглый удивленно оглядел дом, крытый железом, теплые стайки, амбары из толстых бревен, ограду с блестящими стеклянными шарами на углах и сказал:

— Вы, кажется, к тому и идете.

Он прочел напамять:

На прогалине лесной
Виден терем расписной.
Стоит терем, как гора,
Сам литого серебра.
Верх у терема зеркальный,
А вокруг — забор хрустальный...

Лицо и лысина у Поликарпа Петровича стали одного цвета с бородой. Он узнал строки из «Конька-скакунка». Он сам читал вихрастому памятливому мальчишке Ване сказку Верхоянцева.

Гость притворился, что не видит смущения хозяина, прочел еще две строчки:

Пусть землей владеет тот,
Кто свой пот на пашне льет...

Поликарп Петрович сказал с досадой в голосе:
— Безрассудные мечтания юности.

Он зашептал, как заговорщик:
— Сдерживаю себя, Ваня. Сам знаешь советскую политику. Налог-то ведь подоходный, прогрессивный. Можно сказать, большевики по священному писанию законы сочиняют — кому, мол, больше дадено, с того больше и взыщется.

Агапов задрал голову, оскалил зубы — желтые, громадные, похожие на долота. Улыбка у него была лошадиная.
— Другой раз думаешь и машину лишнюю завести бы и удобрение искусственное. Ну, а на поверку выходит — нет никакого резону. К чему мне интенсивность в хозяйстве, если сельсовет на меня налогом на каждом шагу грозится, если за ведро молока на маслозаводе мне предлагают полтину.

Хозяин распахнул перед гостем дверь в дом. Безуглый знал жену Агапова — Матрену Корнеевну. Она была дочерью лавочника из соседнего с Собаковкой села Нарядного. Поликарп Петрович женился по расчету на широко-

костной, рябой, плосколицей, засидевшейся в девках дурнышке. Отец давал с ней большое приданое. Матрена Корнеевна неловко сунула Безуглому свою шершавую руку.

— Гостю дорогому, почтеньице.

Голос женщины, не по росту слабый и тонкий, рассмешил Безуглого. Он отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Хозяйка поспешно ушла в кухню. Она успела заметить веселые глаза гостя. Над ней смеялись часто.

Дом у Агапова был из четырех комнат. В двух хозяин разворочал полы и вынул рамы. Безуглый почувствовал сильный запах меда. На столе стояла тарелка с помятой осотиной. Мухи жужжали над ней, как пчелы. Они черной колеблющейся пеленой покрывали зеркало и фотографии на стенах, потолок и оконные стекла. Хозяин извинялся за беспорядок.

— В тесноте, Ваня, живем. Дом приходится ломать. Боюсь, не окулачили бы за большие хоромы.

Поликарп Петрович широкой ладонью смахнул пыль со стула, подал его Безуглому.

— Не понимаю я теперь вашу политику.

Они сели за стол. Матрена Корнеевна постелила чистую скатерть.

— Нэп я одобрил и решил, что лучше мне ничего не надо. Все, думаю, у нас пойдет, как у больших, одним словом, сказать по-французски — анришизé-ву.

Безуглый нагнулся, стал снимать с сапога стебелек травы. Лицо у него пылало от сдерживаемого смеха.

— Вижу, власть держит курс на хорошее хозяйство, поощряет накопление благ земных. Я говорю Матрене: «Пришел и на нашу улицу праздник, довольно нам гнуть спину на чужого дядю». Собрались мы с ней и махнули сюда, на молочные воды, на кисельные берега.

Агапов приложил платок к намокшим глазам.

— Ваня, объясни мне, как это случилось, что я теперь

кандидат на раскулачивание, а профессор из земотдела, который мне брошюрки писал по разным предметам культурного хозяйства, сидит в Гепеу и сам себя вредителем признает?

Безуглый сказал:

— Не первый вы задаете мне такой вопрос. Недавно разговаривал я с Моревым и объяснял, что при социализме общество не может делиться на классы. Нэп была только стратегическим маневром на подступах к социализму. Вы же полагали, что она есть спуск на тормозах от военного коммунизма к капитализму. Профессора потому и оказались вредителями, что пытались использовать нэп для восстановления старого строя.

Агапов горестно вздохнул.

— Ошибся я страшно в большевиках. Не сообразно с обстоятельствами произвел реконструкцию своей жизни.

Он посмотрел на Безуглого.

— Очень ты, Ваня, на своего деда Алексея похож. Сижу с тобой и старика умного вспоминаю. Сколько раз он говорил в семнадцатом еще году: «Жгите помещиков, не оставляйте от их усадеб ни кирпича, ни щепки. Поместья уцелеют — новые помещики явятся».

Агапов ткнул в стол указательным пальцем.

— Правду говорил старик, на погибель крестьянскую в барских угодьях поселились ваши совхозы. Царское правительство ссужало деньгами помещиков. Вы сейчас засыпаете кредитами свои советские имения. Крестьянину что раньше, что теперь никто ничего, и даже наоборот, который если в люди выходить начнет, то его живым манером охомутают, и стоп машина.

Агапов заглядывал в глаза Безуглому.

— Ваня, чего вы России ноги путаете? Сто шестьдесят миллионов ведь со сложенными руками сидят. Вы вообра-

жаете, мужик работать будет, когда к нему разные хлебозаготовители в амбар лезут?

— Лезем мы только или к злостному несдатчику, или к спекулянту.

Агапов положил Безуглому на плечо руку с бурыми табачными ногтями.

— Ваня, погубите вы Россию. Неужели мы, лапотники нечесанные, на самом деле умнее всех Европ и Америк?

Поликарп Петрович сморщился, впился пальцами в локоть гостя.

— В Америке-то я бы тебя разве так принял? Да у меня бы там гараж свой был, дом в два этажа и у дверей негр в белых перчатках.

Матрена Корнеевна подала ужин — в большой кастрюле окрошку с куриным мясом, заправленную зеленым луком и сметаной, на сковороде — жареного, шипящего тайменя. Поликарп Петрович достал из стенного шкафика графин с домашней малиновой настойкой.

— Далеко нам, Ваня, до американцев. Народ у нас темный, неграмотный.

Хозяин поднес ко рту стаканчик. Граненое стекло стукнуло у него на зубах. Безуглый тоже выпил.

— Грамотному, опять говорю, развернуться нет разрешения. Начал было я дело ставить научно, библиотеку приобрел по сельскому хозяйству, дворы скотные загородил по всем правилам зоотехники, рамочных ульев накупил. . .

Поликарп Петрович закрыл лицо руками.

— Яблони-саженцы хотел из России выписывать. Дедушки вашего сад у меня и сейчас в глазах цветет розовым дымом. Мичурину ваш старик не уступит в садоводстве.

Матрена Корнеевна напомнила мужу:

— Отец, наливай гостю.

Агапов взял графин.

— Алексей Иванович вырастил одно сладкое яблочко, наименованное им впоследствии черноморкой.

Поликарп Петрович защелкал языком.

— Ц-ц-ц.

Безуглый хлебал окрошку, молчал.

— Родились из них одни суховатые и рассыпчатые, другие же удавались с золотистым наливом. На солнышко взглянешь, и все семечки в нем видны, как в стакане вина. Нежнейшие и утешительные яблочки. Один в них недостаток — не способны к перевозке. С ветки на землю падают и колются, словно фарфоровые.

Матрена Корнеевна тронула хозяина за рукав.

— Отец, ешь.

Агапов насадил на вилку кусок рыбы.

— Неужели никогда у нас настоящего порядку не будет?

Поликарп Петрович проглотил тайменя и сам подал Безуглому стакан настойки.

— Ваня, вышел бы ты на партийном съезде на трибуну и сказал бы, что довольно, мол, нам, товарищи, с крестьянином в кошки-мышки играть, пора позволить ему запустить в землю корни. Главное мужику — простор инициативы и чтобы мог он без ограничения использовывать алтаишек и киргизишек.

— Не по адресу обращаетесь, Поликарп Петрович, в партии у нас такими разговорами занимается, правда, одна группа. Я к ней только никогда не принадлежал.

Безуглый засмеялся и спросил:

— Мне кажется, вам не запрещали нанимать батраков?

Агапов всплеснул руками.

— Хе!..

Матрена Корнеевна пододвинула ему тарелку.

— Отец, рыба простынет.

Поликарп Петрович оттолкнул руку жены.

— Сегодня батрака найму, завтра по миру пойду. Меня ведь за одного несчастного голодранца, которому я кусок хлеба дам, в классовые враги запишут, в эксплоататоры по глупым вашим законам.

Агапов лгал Безуглому. Он не нанимал батраков только в первые два года после приезда с родины. У него постоянно и на покосе, и на жнитве работали киргизы.

— Умнейшего человека ты внук, Ваня, и должен понять, что без настоящего крестьянина пропадет Россия. Тысячи неумех — помещиков — прогнали, одобряю, миллионам лодырей — беднякам — зачем землю даете, протестую. Она им, как собаке сено.

Хозяин опять стал наливать себе и гостю. Горлышко графина выбивало дробь о края стаканов.

— Из всего крестьянства выбрать бы миллиона полтора-два ха-а-роших хозяев и сказать им: подымайте, ребята, Россию.

Безуглый задал вопрос:

— А остальных куда?

— Неужели бы мы им работы не нашли?

— Вы, я вижу, стали самым настоящим кулаком.

— Называй меня, Ваня, хоть горшком, только в печь не ставь.

Поликарп Петрович поучающе поднял руку с вытянутым указательным пальцем.

— Без России иные прочие державы заревут, потому без нас нарушение всего мирового равновесия, одним словом статуса куво.

Агапов пьянел быстро.

— Бога вы тоже напрасно отменили. Он всякому человеку был полезен. Человек любит правду и надеется, что бог ее всегда видит. Другой обиженный до гробовой доски все утешается, что бог его правду знает, да не скоро

только скажет. Ну, раз он ждет, то и беспокойства от него никакого быть не может. С богом мир жил в мире.

Матрена Корнеевна перебила мужа:

— Отец, захмелел ты, и гостю от тебя одна докука.

Поликарп Петрович сердито посмотрел на нее и сказал:

— Стели гостю постелю. Сейчас я еще немного выскажусь.

Он обернулся к Безуглому.

— Без бога даже американцы не обходятся — самые дельные и умные люди на всей нашей планете. Отменять нам скорее надо, Ваня, наши неестественые законы. Американец один, помнишь, сказал про Сесеер: «Огромная экономическая пустота».

Агапов в постели бормотал:

— У меня даже есть свои изречения, да керосину мало, записывать не всегда приходится.

Матрена Корнеевна несколько раз рукой закрывала мужу рот. Поликарп Петрович злился, больно щипал жену.

— Я тебе, Ваня, отвечу — не кулак в Сибири только дурак.

Агапов тяжело ворочал языком, ругал себя за лишний стакан вина.

— Человеку тут все дадено, как в раю, — земля, вода. лес, зверь и дикари, идолам поклоняющиеся. Ты не спишь, Ваня?

Безуглый лежал на полу с открытыми глазами.

— Не можешь ты меня осуждать, Ваня, раз я действовал, повинуясь непреложной логике общественных фактов...

Безуглый отозвался:

— Мы это знаем. Ленин давно сказал, что мелкое производство рождает буржуазию ежечасно, стихийно...

Агапов приподнялся на постели.

— Ты буржуем честного труженика... Руки у меня пощупай, барчук... Я тебе припомню...

Он хотел встать. Жена повалила его на подушку. Сон закрыл ему глаза, связал язык.

Безуглый вскочил на ноги и неожиданно почувствовал, что малиновая настойка была очень крепка. Он пошел к выходу, с грохотом свалил стул и стукнулся головой о притолку. На крыльце ему пришлось присесть. Ртутные, сверкающие пузыри на изгороди, словно бильярдные шары, перекатывались с одного угла на другой, пропадали в темных лузах. Звезды красными мелкими искрами сыпались из темной копоти неба на непокрытую голову коммуниста.

— Неужели я пьян?

Конь услышал голос седока, громко заржал. Безуглый крикнул:

— Обожди, дружок, башку надо провентилировать!

Он ощупал свои руки.

«Ну, мягкие. А отец у меня бурлак. Кривошеев тогда наболтал, теперь Агапов. Не может этого быть. Мать сказала: нет. Никто не имеет права называть барчуком. Не могу позволить сочинять легенды. Нарвался на толстовца. Думал из него сделать колхозного активиста. Навзонит теперь еще скрытое социальное происхождение. Анна тоже обидела, ненависти, говорит, у тебя нет настоящей, не батрачил ты на кулака...»

Безуглый удивился своим неожиданным рассуждениям. Он не мог понять, почему простое повторение давнишней деревенской сплетни вывело его из равновесия. Он вспомнил расстиранные в кровь руки матери, высокие стены каторжной тюрьмы и трупы врагов на фронте. Положительно ему нечего было стыдиться. Коммунист плюнул, обругал себя дураком. Он не хуже других. Жизнь его проверена и кандалами и пулями...

Безуглый прислонился спиной к двери, уронил голову на грудь и захрапел. Белые ветви яблонь зашумели у него перед глазами. Ветер рвал с деревьев цветы. В саду побелели дорожки, словно на них намело слой запоздалого весеннего снега. Безуглый с Андроном сидели на террасе дедовского дома. Кержак щупал стены, окна, выходную дверь и говорил:

— Одобряю, Федорыч, изба у тебя прямо первая по нашему селу.

Безуглый подошел к перилам. Стадо ручных маралов стояло у самого крыльца. Рога зверей качались, как сучья яблонь. Звери шершавыми, горячими языками лизали Безуглому руки. Он почесывал у них за ушами, щупал пушистые теплые и мягкие панты.

Андрон все говорил:

— Рог у зверя, дружок, — хрустальная посудина. Его тебе шибко беречь надо. Хозяин ты молодой, непривышный.

Длинная очередь босых батрачек в подоткнутых мокрых юбках оттеснила зверей от террасы. Безуглый услышал звон денег и глухой стук костяшек. Дед клал на счетах копейки и гривенники, отсчитывал и раздавал поденщицам дневную плату. Мелкие серебряные монеты на черных ладонях работниц казались белыми легкими лепестками, упавшими с яблонь. Внук разбирал фамилии и имена вызываемых к столу.

— Самохина Марья, четвертак. Круглова Аксинья, двугривенный...

Безуглому стало стыдно. Андрон кричал ему в темной глубине ущелья:

— Федорыч, соседушка ты мой жаланный, откушай чашечку за дружбу нашу вовеки нерушимую!

Дед Алексей с силой опустил на плечо внука свою властную лапу.

— Ваня, слушай сюда. Не советую тебе служить в пар-

тии. Я сам себе хозяин и того же всем своим детям и внучатам желаю.

Дед сорвал с дерева румяное, золотое яблоко, подал его Безуглому. Лицо у старика было краснощекое и круглое.

— Старая яблоня дает до тридцати пяти пудов.

Яблоки начали сыпаться Безуглому на голову, на плечи, на спину. Они катились у него по рукам, по ногам, по всему двору и забору.

Матрена Корнеевна долго трясла и толкала дверь, пока разбудила Безуглого. Он быстро спустился с крыльца и сказал ей:

— Простите меня, я немного задумался на свежем воздухе и не слышал, как вы подошли.

Гость прятал от хозяйки свое помятое лицо. Стеклянные шары на ограде были тусклы. Рассвет только начинался. Матрена Корнеевна уселась среди двора на низенькой скамеечке, подставила подойник под толстое рыжее брюхо Мечты. Корова спокойно жевала жвачку. Хвост у нее совершал правильные движения маятника.

Безуглый вытащил из предамбарья седло и, звеня стременами, понес его к коню. Седло нахолодало за ночь. Холод кожи от концов пальцев хлынул по всему телу. Безуглый зябко вздрогнул. В ту же минуту жаром разлились воспоминания. Коммунист держал железный противень с остуженной студенистой массой гектографа. Лия показала ему место на столе. Они начали печатать листовки в две руки с разных концов вареной матрицы. Руки подпольщиков иногда встречались. Они были горячи. Под листами тонкой бумаги колыхался холодный и упругий студень. Безуглый седлал лошадь и оправдывался, как во сне:

«Я, кажется, ничего не сделал плохого? Если выпил по ошибке лишний стакан, то что из этого следует?

Заехал к кулаку в гости? Извиняюсь, я знал его другим. В уставе партии к тому же не написано, можно ли коммунисту переночевать у классово-чуждого элемента в местности, весьма отдаленной и не имеющей гостиниц. Вы возмущаетесь, что я не спорил с Замбржицким и с Агаповым? Метание бисера перед свиньями — давно осужденное дело. Тяните меня к ответу, когда я им поблажку дам. Думаете, поздно будет? Бытовое срастание? Действительно сросся — на охоту один раз съездил, ночь одну переночевал».

Все же Безуглый никак не мог освободиться и от ощущения стыда, и от сознания совершенных ошибок. Он думал почти с отчаянием:

«В этом проклятом мире, пока он разделен на враждующие лагери, мы ведь не только деремся с врагами, но вынуждены жить вместе с ними. Враг спас мне жизнь. Я вызволил его из-под медведя. Человек, ставший врагом, выучил меня читать, внушил ненависть к царю. Я сегодня пью с ними вино. Завтра моя рука не задрожит от жалости...»

Он вывел коня за ворота, как был, без фуражки. Плеть со свистом рассекла воздух. Конь прыгнул и понес седока карьером.

— Лия... Лия...

Ветер гремел в его рубахе. Над головой летали чайки, похожие на белые лоскуты бумаги.

— Сын мой, я поведу тебя в мир, где не будет прошлого.

Коммунист скакал и испуганно косился назад. Всаднику почему-то казалось, что по дороге, поднимая длинный серый кипящий поток пыли, невидимо волочится огромная безобразная его пуповина.

Коня Безуглый кормил в коммуне «Новый путь». Он въехал в поселок совершенно успокоенным. Свои ночные

и рассветные страхи коммунист приписал действию малиновой настойки. Он даже обозвал себя сочинителем. Самообвинение в бытовом срастании с врагами показалось ему несусветной нелепицей.

Председатель коммуны был в отлучке. Безуглого встретил завхоз — рыжий, веснущатый, бородатый человек в куцем черном пиджаке. Руки у него из коротких рукавов торчали, словно громадные волосатые клешни. Штаны темного рипса, как рейтузы, обтягивали могучие, отлитые из чугуна ляжки. Костюм затруднял каждый шаг завхоза. Он был им получен в премию от совета коммуны. В Бийске в магазине готового платья на его рост не нашлось ничего более подходящего. Одни сапоги — тяжелые, на железных подковках, сшитые по заказу своим сапожником, свободно облегали редкостные по величине ноги коммунара. Безуглому показалось, что он где-то видел этого рослого человека.

Завхоз назвал себя:

— Масленников.

Безуглый сразу вспомнил чернобородых братьев и спросил:

— Вы родственник двум Мелентиям Аликандровичам?

— Я Масленников средний, а кто зовет и просто Масленников рыжий. У отца нас было пятеро. Один у немцев в плену помер, другого белые убили.

— Вы тоже Мелентий Аликандрович?

Масленников обиженно нахмурился.

— Пошто же так? У меня свой святой есть — Веденист.

— Простите меня за шутку, Веденист Аликандрович.

Безуглый снял с коня седло.

— Овса у вас найдется немного?

Масленников облапил обеими руками бороду и, задумчиво глядя на небо, спросил:

— Вам за наличные или под расписку?

Веденист Аликандрович потупился

— Очень наша коммуна в оборотных средствах нуждается. Государство на ссуды скупо стало. Долги у нас большие.

Завхоз рассматривал высокие охотничьи сапоги приезжего.

— В единоличном хозяйстве заехали бы вы ко мне, я и разговаривать не стал бы о таком пустяке. В коммуне, сами понимаете, человек грамотный, каждая былинка травная на учете, и завхоз за нее в ответе

Безутлому почудилось, что перед ним стоит Масленников старший, только синяя, стальная борода у него раскалилась докрасна.

— Сколько я должен вам заплатить?

— Рассчитаем сходственно, по средней рыночной цене.

Приезжай попросил разрешения осмотреть жилые и хозяйственные постройки коммуны. Веденист Аликандрович помедлил с ответом.

— Председатель у нас находится в настоящее время в Бийске... Вы по какому вопросу к нам завернули?

— Я заехал покормить лошадь и напиться чаю. Моя фамилия — Безуглый.

У завхоза мгновенно погнулись плечи и спина. Глаза замаслились, как у Мелентия Аликандровича старшего, когда тот встречал у себя на дворе англичан.

— Вы, значит, самый Иван Федорович Безуглый и есть?

— Да.

— Наслышаны о вас, как же... С полным удовольствием покажем. Я сам вас и проведу. Учитель у нас тут есть свой, он вам всю историю объяснит с самого начала двадцатого года.

Веденист Аликандрович суетливо топтался вокруг приезжего, дергал себя за полы, за рукава, оправлял под бородой ворот рубахи.

— Хлебуполномоченный тут нас маленько пообидел. На его место теперь вы, значит, заступили... Очень прекрасно...

Масленников отвязал коня Безуглого, завел его в тень, под навес

— Об деньгах за фураж не беспокойтесь, Иван Федорович, свои люди — сочтемся.

Он угодливо улыбнулся.

— Запишем в счет нашей хлебосдачи, раз вы человек казенный и проезжаете по государственному важному делу.

Безуглый резко оборвал завхоза:

— Я заплачу

Коммунары построили свой прямой поселок невдалеке от села. Многие перевезли с собой старые дома. Приезжий остановился перед диковинным сооружением, слепленным из нескольких изб разного размера и возраста. Линия крыши у него была ступенчатая, стены — всех цветов и оттенков, окна — самых неожиданных калибров, со ставнями и без них. Приезжий назвал его домом-деревней. В нем помещались пекарня и мастерские. Раньше в доме-деревне на двухэтажных нарах жила вся коммуна.

Веденист Аликандрович сказал со вздохом:

— Вот была глупость наша. Всем селом хотели жить в одном доме.

Они подошли к высокому, новому зданию школы. Из окна высунулась коротко остриженная голова. Завхоз крикнул:

— Митрофан Иваныч, выйди к нам, пожалуйста!

Безуглому он прошептал скороговоркой:

— Учитель наш. Мастер на все руки. Он и на пианинах, и на скрипках музыкантит, ребят учит, большим книжки читает.

Учитель был круглолиц, брит, чернявв, не высок и не низок. Глаза его показались Безуглому лукавыми.

Митрофан Иванович жил при школе. Он пригласил приезжего к себе. Веденист Аликандрович не пошел к учителю. У него не было времени.

— Вы побеседуйте за чайком. Я потом подойду.

Безуглый попросил учителя рассказать ему все, что он знал о коммуне. Митрофан Иванович усадил гостя за стол и подал ему толстую тетрадь в черном клеенчатом переплете.

— В моей летописи вы найдете прошлое колхозного движения на Алтае, про настоящее поговорим. Вы читайте, я самовар согрею. Хозяйка у меня в аймак уехала.

Безуглый вытащил свою записную книжку и самопишущее перо.

— Вы разрешите мне сделать кое-какие выписки из вашей работы?

— Нашли о чем спрашивать.

Митрофан Иванович подхватил самовар и пошел с ним к двери.

— Хоть от корки до корки ее переписывайте.

Безуглый стал читать.

«Историю наших сельскохозяйственных коммун надо разделить на три периода. Первый — с 1920 года до кулацких восстаний в 1921 году, второй — от начала бандитизма до нэпа, третий — с конца 1922 года до наших дней».

Безуглый прочел несколько страниц и записал:

«Лучшая пора — первый период. Взаимоотношения держались на доверии и дружбе. Запоров не существовало никаких. На дворе и в избах был порядок. Рост коммун шел с необычайной быстротой. Выходов почти не наблюдалось. Организация из пятнадцати-двадцати семей делала в три раза больше, чем

она же потом из шестидесяти-семидесяти хозяйств. Ошибки — подмена практического расчета и плановости стихийным самотеком, отсутствие учета труда».

Митрофан Иванович надел очки и заглянул через плечо приезжего в его книжку.

— Над коммунами тогда было ясное небо. Тучки собирались только со стороны сельских обществ. Старики упорствовали особенно сильно. «Кака там коммуния? Кого она может? Не дадим земли».

Безуглый возразил:

— Да, но ведь губземотделы были на стороне коммун?

Митрофан Иванович кивнул головой.

— Совершенно верно, вот вырезка участков с разрешения земельных органов как раз и была началом вражды между единоличниками и коммунарами.

Самопишущее перо быстро скользило по бумаге.

«Второй период — самый тяжелый. Кулацкие банды уничтожали посевы, поджигали хлебные амбары, угоняли скот, убивали и истязали коммунаров».

Митрофан Иванович тронул руку приезжего.

— Я свои записки немного еще дополню вам.

Безуглый положил ручку.

— Время было такое, что ни один коммунар не раздевался ночью. В избах спали только женщины и дети. Мужчины прятались в банях или на сеновалах. Работали с оглядкой, чуть что — и врассыпную. Коммунары тогда были совершенно безоружны. Конные бандиты налетали на пашни, зарубали работающих или, в лучшем случае, приставляли револьвер к виску и вырывали обещание немедленно выйти из коммуны. Бандиты сидели под каждым кустом, хоронились всюду в тайниках у сочувствующей части крестьян-единоличников.

Митрофан Иванович сам прочел в своей тетради:

«Однако самое тяжкое испытание коммуны выдержали после подавлении кулацких восстаний, когда в них кинулись буквально все, кто так или иначе был причастен к бандитскому движению или боялся больших налогов.

Один остроумный коммунар сказал на съезде колхозов:

«В коммуну зашел народ разных категориев, всякая всякота. Кулаки, бедняки, дураки, словом, всех цехов, все с бухту-барахту собрались и давай жить без соображения».

Губительная неразборчивость в людях проистекла тогда из весьма благородных побуждений. Старые коммунары опьянели от радости победы и фальшивое желание врагов войти в коммуну приняли за чистую монету. Впрочем, и те, кто правильно расценивал подлинные намерения новоявленных колхозников, наивно верили, что чуждые люди перевоспитаются под влиянием коллектива.

Возникли громоздкие колхозы. Наряду с нездоровым распуханием старых поднялись, как грибы после дождя, многочисленные новые. Развал коммун, особенно новых, был предопределен. Все попытки наладить коллективное хозяйство напоминали тщетное стремление сгрести воду в кучу. Все суетятся, все хлопочут, а толку нет. Каждый под маской общественного усердия скрывал или ненависть, или равнодушие к новому делу.

Старик Лопатин из Белых Ключей заявил как-то в совете коммуны:

— На кого ни глянь, ходит, как разварной, а ежели б дома жил, разве бы он так поворачивался?

Было противно смотреть, как сразу, словно чудом, изменился крестьянин. Кому не известна была его рачительность и бережливость дома. Теперь эти качества превратились в лень, безжалостность и недогадливость в самых простых вещах, в полную безынициативность. Многие втолкали себе в голову одну черную мысль — не мое... Стерла лошадь холку — чорт с ней, пусть дальше трет. Опоили другую — тоже не беда, издохла она после того — туда ей и дорога. Лежит в грязи хомут — лежи. Опоздали сегодня на три часа выехать за кормом потому, что вчера неохота было ввернуть завертки в сани, — пустяки. Скрючились и пропадают коровы от холода — пусть пропадают»

Митрофан Иванович спросил Безуглого:

— Может быть, вам не интересны все эти мелочи?

— Очень прошу вас читать. Весь опыт прошлой работы крайне ценен. Нам он необходим, чтобы избежать повторения ошибок. Я в те годы был на Алтае, но, признаюсь, многого не заметил, может быть потому, что у меня были иные задачи. Итак, с вашего разрешения, давайте продолжать.

Митрофан Иванович перелистнул страницу.

«В свинятнике свиньи тонут в мешанине по брюхо. Ягнята, только родившиеся, замерзают десятками от недогляда. Телята скучены больные со здоровыми. Телятники — сырые с заплесневелыми стенами, из рук вон плохи. Подстилки меняются редко, гниют, у телят отопревают целые зады. Понятно, что при таком содержании скота прирост его разве в счастливых случаях составляет одну четверть должного. Об отдельных стайках и теплых дворах для коров и лошадей и говорить нечего. За зиму в общие пригоны скоту сваливались це-

лые горы сена, значительная доля коего затаптывалась, обращалась в навоз. Сена, которого хватило бы при разумном кормлении на две-три зимы, едва хватало на одну. Дойные коровы стояли в пригонах в дождливое время по колена в грязи. Они продаивались небрежно, за выменем не было никакого ухода, оно трескалось и кровоточило. Пойлом коров никогда не поили. Летом пастухи ленились даже лишний раз сгонять их на реку. Обращение с лошадьми не лучше. Жеребые кобылицы совершенно не изолировались от табунов и выкидывали. А как обрабатывалась земля? Лошадей в истомную жару гоняли рысью, огрехи оставляли в сажень шириной.

Ссоры, особенно женщин, превзошли всякие ожидания. Заметит Марья, что Дарье раньше нее выдали новые обутки, и пойдут цапаться. Драки прекращали иногда люди из соседней деревни.

А что делали те, кто с часу на час ожидал выхода из опротивевшей коммуны? Дадут какой-нибудь из таких особ сажать огуречные семена. Она, чтобы поскорее отделаться, высыплет их в две-три лунки, и свободна. Пошлют ее на посадку картошки — она по целому ведру валит в одну кучу. Назначат хлеб печь — она назло такой заверпет, что сам чорт об него когти сломает».

Безуглый провел рукой по лицу и громко вздохнул.

— Уф!..

Митрофан Иванович замолчал, поднял на него глаза.

— Продолжайте, я слушаю.

«Крестьяне, вступившие в коммуны по соображениям временного порядка, стали выходить из них с началом нэпа. Выходам предшествовали систематический, с расчетом проводимый саботаж, вредительство и расхищение имущества. Воровали лошадей, коров, плуги, чтобы после ухода из коммуны было чем «пойматься

за землю». Коммуны вступили в самую черную полосу своего существования. Началась лихорадка разделов. Ликвидационные комиссии скакали по всему Алтаю. За ними следом саранчой носились коммунары и хапали остатки чужого имущества. Одна коммуна караулила другую, выжидала раздела, чтобы забрать себе живой и мертвый инвентарь. Кулаки и бандиты под маской коммунаров истребляли прекрасных производителей — кровных лошадей, породистых свиней, овец, пожалованных им щедрыми ликвидкомами. Сожрав, перепортив все, что им досталось, саранча-коммунары переходили сначала на устав товарищества, а потом разбегались в разные стороны. Выходцы, обделенные при разделе, разжигали среди крестьян ненависть к уцелевшим коммунам. Ненависть объединила и бывших коммунаров и единоличников. Во всем стали подозревать и обвинять колхозы. Не понравится декрет — начинаются разговоры:

— Советская власть тут не при чем. В коммунии закон такой состряпали.

Не уродился хлеб, кричат:

— Кумыния землю спортила!

Женщины изливали свою злобу в разных небылицах. Одна говорила:

— В Белых Ключах, сказывают, планида расшибла всю кумынию. Прямо, деуньки, на нее, грешную, угодила.

Другая подхватывала:

— В Быковой, слыхать, вся кумыния змеями взялась. В горшках со щами, ровно лапша, кишат.

Третья торопилась со своими новостями:

— А в Заречной зашла в кумынию чума, да душит, да душит этих коммунаров. Протчего люда пальцем не шевелит. Оглянулась, видно, матушка, заступница наша небесная.

За словами следовали дела. Опять начались потравы

коммунарских лугов, полей, поджоги, похищение скота, убийства из-за угла.

Беспрерывная двухлетняя борьба надломила и старые, крепкие коммуны. Хозяйство неуклонно шло к упадку. Коммунары постепенно проедали свое имущество, и доставшееся после ликвидации других коммун, и добро, отобранное по суду у кулаков, бандитов, и правительственные ссуды. Люди начали сомневаться в собственных силах и в верности самого дела».

Митрофан Иванович прервал чтение, выскочил в сени. Он крикнул гостю:

— Самовар убежал!

Безуглый стал делать пометки в записной книжке.

За чаем учитель снова раскрыл толстую тетрадь.

— Для полноты картины разрешите, Иван Федорович, прочесть вам еще одну небольшую главу?

Безуглый пододвинул к себе стакан.

— Да, конечно.

Митрофан Иванович откашлялся, наскоро глотнул из чашки.

«Враги остались в коммунах и после массового отлива. Разномастные проходимцы, пролезшие на руководящие должности, вели себя как удельные князья или крепостники-помещики. Коммунары были для них тяглыми людьми. Коммуна, по понятиям такого довольно распространенного типа руководителей, должна была служить только для прославления имени ее председателя. Он никогда не скажет «наша коммуна», а обязательно «моя». Председатель-сатрап окружал себя крепким кольцом холуев и проводил на собраниях все, что хотелось его левой ноге. Он с кучкой дружков был на привилегированном питательном положении, кушал особ-

нячком медок, зажаривал баранчиков, поросяток, гусей, лизал маслице, пил медовушку. Протесты не достигали цели. «Общее собрание» клеймило именем предателя, контрреволюционера и выкидывало из коммуны голеньким всякого, кто пытался заикнуться о самокритике. Перед руководителем все дрожит и благоговеет. Наушничание, подхалимство, мелочное политиканство, взаимные подкопы — вот что сменило братские отношения первого периода. На собраниях редко обходилось без грызни и ругани, точно там сидели не коммунары, а заклятые враги.

Однажды ночью в сильный мороз я заехал в коммуну «Большевик». Меня встретил сторож — один из членов, вооруженный вилами. Без разрешения председателя у них ночевать никого не пускали. Сколько я ни просил его постучать к верховному властителю за разрешением на ночлег, он не дерзнул этого сделать.

— Ну его к богу, характерный он шибко, заругается. Теперь спит, как его тронуть?

Так я и уехал. Весной мне все-таки удалось увидеть характерного председателя и его коммуну. Он показал мне все свои владения. С гордостью ткнув пальцем в сторону небольшого двухэтажного дома, характерный сказал:

— Вот сюда у меня почти вся коммуна влезла. Пятьдесят четыре души в одной избе.

Я вошел в самобытный фаланстер. В дверях меня ошибло горячей, влажной вонью. Народ на двухэтажных нарах, как каша. На полу валяется одежда. У самого порога мокрые синие портки. Всюду грязь. Под нарами парят куры, утки и гуси. От них смердит. На голых досках корчатся в бреду тифозные больные, прикрытые старыми попонами. Над головами больных ткет большая, распотелая баба, ожесточенно грохая бердом. На печке кишит многочисленное ребячье население — худосочное, земли-

стое, в чесоточных струпьях. На голову мне полились помои. Оказывается, вода всегда текла со второго этажа, как только там принимались за мытье полов. Наверху зато задыхались от дыма, когда внизу начинали топить печь. Я выдержал не более трех минут и опрометью выскочил на свежий воздух. . .».

Митрофан Иванович с силой захлопнул тетрадь, швырнул ее на книжную полку.

— Вопрос ясен, говорят у нас докладчику, когда не хотят его слушать.

— Я слушал вас с величайшим вниманием.

— Об вас и разговору нет.

Митрофан Иванович стукнул по столу кулаком.

— Все, что было, то прошло. Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Коммуна наша теперь одна из лучших по всему сибирскому краю.

Безуглый спросил:

— Уцелели ли у вас хоть несколько человек из старых коммунаров?

— У нас все, кроме Масленникова, в коммуне с двадцатого года.

— Масленников давно стал коммунаром?

— Ровно год.

— А. . .

— Вы почему им заинтересовались?

Безуглый неопределенно улыбнулся и смолчал.

Наружная дверь скрипнула. В комнату вошли два коммунара — секретарь ячейки Мартын Мангул и библиотекарь Алексей Лихачев. Секретарь был черноволос (кепку он держал в руках), курносоват и широк в плечах. Библиотекарь выше него, узок, длиннолиц, с редкими льняными волосами. Приезжий смотрел на них с удивлением. Коммунары, бритые, тщательно причесанные, в но-

вых пиджачных костюмах, в голубых мягких сорочках с цветными галстуками, в начищенных штиблетах, показались ему актерами-любителями, одетыми под буржуев. Мангул и Лихачев пришли пригласить Безуглого на обед в столовую коммуны..

· Безуглый спросил:

— У вас сегодня в нардоме, кажется, новая постановка?

Мангул ответил:

— Драмкружок ставит пьеса, написанный коммунаром нашей коммуна.

— Вы на репетицию костюмы одели?

— Мы с товарищ Лихачев не принимаем участие.

Мангул вдруг понял, почему приезжий заговорил о спектакле. Безуглый увидел, как постепенно краснели у секретаря щеки, подбородок, лоб.

— Вы думаете, что мы надеваем на себя декорация? Вы ничего не знаете жизнь в село.

Мангул отвернулся и искоса оглядел Безуглого. Он был сильно рассержен. Митрофан Иванович засмеялся.

— Мы сейчас вам, Иван Федорович, еще такое покажем, что вы всю нашу коммуну сочтете за деревню небезызвестного гражданина Потемкина. Оно со стороны свежему человеку, пожалуй, иначе и не понять. За одно могу поручиться перед вами — жареного поросенка из избы в избу перетаскивать не будем, потому столовая у нас общая.

Безуглый почувствовал себя очень неловко. В дверях все молча потоптались, уступая друг другу дорогу. На улице долго не могли наладить разговор. Мангул наконец заговорил первый. В голосе у него еще дрожала обида.

— Прошу вас, товарищ Безуглый, сходить за поселок на реку и посмотреть, какая книга читает наша птичница.

Лихачев показал рукой на босую девушку с хворостиной около белого табунка гусей. Молодая птичница, за-

прокинув голову, следила за коршуном в небе. Время от времени она кричала:

— Шу-угу! Шу-угу!..

На большом камне, заменявшем девушке стул лежала толстая книга, обернутая в газетную бумагу. Безуглый взял ее, раскрыл. Мысль об инсценировке горечью скривила губы. Он не сомневался больше, что его морочат. Мангул крикнул:

— Поля, поди сюда и расскажи нам про своя чтение!

Девушка подошла, поклонилась. На ней было серенькое ситцевое платье и такой же платок. Безуглый спросил Лихачева:

— Ваша дочка?

— Она самая. Вы угадали.

— Вы читаете книгу этого?..

Безуглый нарочно не договорил фамилию автора.

— Я очень люблю историю Генриха Гете про Фауста и Маргариту.

Мангул недовольно поправил:

— Гете назывался Иоганн.

— Простите меня, беспамятную, с Генрихом Гейне спутала.

Безуглый ничего не понимал. Он совсем тоном дореволюционного экзаминатора задал новый вопрос:

— Вы, может быть, знаете и еще какого-нибудь Генриха?

Девушка подняла голову. Глаза ее были ясны и сини.

— Мы еще с Митрофаном Ивановичем читали Генриха Ибсена — «Строитель Сольнес» и «Гильда».

Безуглый пожал плечами и обернулся к учителю.

— Вы, значит, перечитали с ними бездну литературы?

— Иностранных и русских классиков почти всех. Советских писателей до единого.

— Чорт знает что такое. Неужели ‹…› ча работа никогда

не отмечалась в печати? Она, по-моему, имеет всесоюзное значение.

По лицу у Митрофана Ивановича пошли белые полосы. Улыбки у него не получилось, хотя он и старался растянуть губы. Мангул сказал Безуглому:

— Нас дожидается обед. Мы должны уходить.

На обратном пути секретарь показал приезжему водяную мельницу, лавку с набором крестьянских товаров и все мастерские.

Столовая помещалась в нардоме. Коммунары — мужчины, женщины и дети — стояли перед входом двумя рядами. Над ними крупными складками морщилось красное знамя. Древко держал седоусый партизан Аким Ильич Иконников. Он сделал три шага навстречу Безуглому, остановился, звякнул шпорами.

— Боевому командиру, товарищу Безуглому, передаю приветствие от старых партизан-коммунаров и всей коммуны.

Безуглый подал ему руку. Старик не шелохнулся. Он стоял навытяжку, как на параде. У него шевелились только длинные серебряные усы.

— По поручению совета коммуны честь имею пригласить тебя, дорогой гость, отведать с нами трудового обеда.

Аким Ильич всюду ходил в военной форме. Коммунарам стоило большого труда убедить его не брать на работу шашку, подаренную Калининым. Шпоры снимать старик отказывался наотрез. Он питал особенную слабость к их малиновому звону. Они достались ему от польского полковника, командира карательного отряда. Отряд поляков был изрублен партизанами благодаря хитрости Иконникова. Аким Ильич навязался им в проводники и завел в ловушку. Партизаны дали старику шутливое прозвище — «Жизнь за без царя».

Безуглый узнал в рядах четырех своих красноармей-

цев. Человек пять были одеты одинаково с Мангулом и Лихачевым. Несколько коммунаров пришли для большей торжественности в новых, блестящих галошах. Жена секретаря — Марта Мангул — стояла на правом фланге в желтых ботинках на высоких каблуках и в белых перчатках. Красные галстуки пионеров были поголовно у всех детей. Безуглый опять подумал: «Все подстроено, бутафория». Он шагнул на крыльцо. Аким Ильич навалил знамя на левое плечо и полез за ним следом. Хлопки коммунаров зашумели, словно крылья сотни птиц. Гость сам себе возразил: «Не может все это быть обманом. Оделись, правда, лучше, чем в обычный праздник».

Хозяйкой столовой была Марта Мангул. Клеенки на столах и стены могли поспорить с белизной ее перчаток. Две коммунарки в белых передниках и в туго повязанных красных платках расставляли тарелки, раскладывали ложки, ножи и вилки. На одном столе в молочной глиняной кринке стояли живые цветы. Безуглый пробормотал: «Ну, это уж только для меня поставлено».

Он сказал Мангулу:

— Вы мне все какие-то чудеса показываете.

Секретарь отодвинул табурет, предложил гостю сесть.

— В Советском Союзе чудес не может бывать. Мы имеем около десять лет честной работа. В этом есть весь секрет.

Учитель сел рядом. Безуглый наклонился к нему.

— Митрофан Иванович, что хотите со мной делайте, никак не могу отделаться от мысли, что вся ваша коммуна не настоящая. Сижу, точно на сцене, и принимаю участие в агитпостановке со счастливым концом. Вы понимаете, что после всего прочитанного в вашей толстой тетради о прошлом коммун...

Бритые круглые щеки учителя поплыли вширь. Он потихоньку продекламировал:

Бог нашей драмой
Коротает вечность.
Сам сочиняет,
Ставит и глядит.

— Иван Федорович, мы ведь скоро десять годков как без участия господа бога — любителя трагедий — колхозную постановочку сочиняем и ставим. Неужели мы за столько лет до счастливого конца не могли додуматься?

Дежурные по столовой коммунарки подали миски с мясными щами. Митрофан Иванович взял поварешку и стал наливать гостю.

— Вот мы вам и демонстрируем разрушение всех небесных литературных канонов. Драма у нас получилась, можно сказать, со вкусным окончанием.

Он поставил перед Безуглым дымящуюся тарелку.

— Рекомендую, щи Марта Карловна варит отменные.

На второе подали белую пшенную кашу. Дежурные коммунарки каждому наливали в тарелку ложку русского масла. Масло растекалось по каше, точно расплавленное золото. Гость опять наклонился к учителю.

— Галстуками и сорочками вы меня прямо убили.

Митрофан Иванович с улыбкой посмотрел на Мангула.

— Латышская интервенция, — ничего не поделаешь. Мартын Иванович всех нас обратил в свою веру.

Мангул размешивал кашу.

— Мы должны взять все хорошее старой Европа.

Безуглый добавил:

— Не только Европы, но и Азии.

Он спросил:

— Сколько у вас латышей в коммуне?

— Четыре семьи. Они всегда чисто жили. У них и цветочки эти самые на столе, и в дом не войдешь в сапогах, заставят надеть специальные туфли-шлепанцы. Наши си-

бирячки большие чистотки, но против латышек им не устоять. Нечего греха таить, пошколили они наших коммунаров.

— Все-таки, неужели у вас каждое воскресенье так одеваются?

— Не совсем, но вроде. Крестьянина трудно сразу приучить к галстуку. Он хоть и купит его, да в сундук положит. Для вас все понадевали. Хотят перед высоким гостем похвастаться своими достижениями. Один я не успел нарядиться. Врасплох вы меня захватили.

Митрофан Иванович, улыбаясь, осмотрел свою черную косоворотку с белыми пуговицами.

— Вы вот удивляетесь, что у нас птичница Аполлинария Лихачева Гете читает. На самом деле конечно ничего удивительного тут нет. Мы, русские люди, до того привыкли считать себя и темными и отсталыми, что иногда забываем о революции, которой, как вам известно, второй десяточек пошел. Я записываю высказывания коммунаров о прочитанном и думаю издать их отдельной книгой. На обязательность нашей критики мы не претендуем, но будем просить советских писателей и с нами посчитаться.

Безуглый положил ложку в опорожненную тарелку.

— Вы меня, Митрофан Иванович, можно сказать, с поличным поймали. Я действительно мыслил словно по инерции. Деревня наша, мол, такая-сякая. Все, что есть плохого — естественно, хорошее — от лукавого.

Нелепость сомнений стала для Безуглого очевидной. Он вспомнил, что деревня побывала на мировой и на гражданской войнах, ходила за море выручать союзную Францию, работала в концлагерях Африки, видела плен, интервенцию, бегала за счастьем в Америку. Она отказалась драться под знаменами царя и под тряпками временного правительства, побраталась с немцами, отняла усадь-

бы у своих помещиков. В белой армии деревня вязала руки офицерам и втыкала штыки в землю. Безуглый сам с ней прошел от Волги до Алтая. С ней он лез на обледенелые вершины. Ни война ни революция, правда, не уничтожили классовой многоликости деревни. Нетронутым уцелел извечный ее алчный хозяин — мелкий собственник. Коммуны росли пока вулканическими островами в океане единоличных хозяйств. Коммунист подумал, что они — первые куски суши, которая скоро поднимется высочайшими горами.

Коммунары разговаривали и работали ложками. Ребятишки за отдельным столом кричали и смеялись. Руки у всех обедающих были грубые. Безуглому казалось, что он сидит в заводской столовой в Москве.

Аким Ильич встал, поправил портупею, откашлялся, выждал. Стук ложек стал стихать. Обед шел к концу.

— Иван Федорович, от имени старых партизан, а также бойцов твоего отряда просим тебя высказаться.

Безуглый поднялся из-за стола. Табурет краем зацепился за ремень его сапога, с громким стуком опрокинулся набок. В столовой сразу смолкли все разговоры.

— Товарищи коммунары, то, что я видел у вас, совершенно замечательно. Ошибки ваши мне трудно разглядеть в один день. Однако позволю себе думать, что они у вас найдутся.

Безуглый взглянул на Масленникова. Он сидел со склоненной головой и пальцем на столе катал хлебный шарик. В аймисполкоме Безуглому сказали, что коммуна «Новый путь» медленно выполняла хлебозаготовки, задерживала уплату давнишних долгов. Изъяны в коммуне были. Ему не хотелось с чужих слов говорить о них собранию. Гость внимательно разглядывал каждого коммунара, точно хотел еще раз убедиться, что перед ним сидят настоящие, живые люди. В памяти возникло поле без

межей, благоустроенный поселок под белыми тесовыми и красными железными крышами, мельница с маленькой динамомашиной, мастерские. Он сам час тому назад ходил по улице и все видел собственными глазами.

— Сегодня утром у Митрофана Ивановича я с огорчением думал, как трудно человеку разделить свой хлеб. Сейчас я с радостью смотрю на людей, которые по доброму согласию поделили землю, труд и все добытое.

Безуглый в городе привык мыслить отвлеченными понятиями. В Сибирь ехал, как архитектор с планами стройки. За столом коммуны он увидел, что мир, открытый в книгах, живет, улыбается ему десятками глаз.

— Товарищи, в Барнауле механик Иван Иванович Ползунов на два года ранее Джемса Уатта изобрел и сделал паровую машину непрерывного действия. Изобретатель умер за шесть дней до пуска первого в мире парового двигателя. Машина Ползунова работала пять месяцев, потом ее поломали и разобрали. Почему изобретение англичанина не постигла участь русского? Потому, что применение пара было обусловлено всем ходом промышленного развития.

Безуглый ногой отодвинул мешавший ему табурет.

— Коммуны в сельском хозяйстве сыграют роль такого двигателя, который обеспечит его небывалый расцвет. Они не являются исключительно русской выдумкой. Основоположники научного социализма, как вам известно, родились в Германии. Нужды нет, если мы и на этот раз беремся за дело ранее Уаттов. Мы убеждены, что нам именно выпала честь начать новую эпоху в жизни человечества.

Безуглый расстегнул ворот рубахи. В столовой стало душно. Марта Карловна рукой показала дежурным коммунаркам на окна. Женщины пошли между столов, застуча ботинками. На них зашикало все собрание.

— Наши враги делают вид, что коллективизация сельского хозяйства — затея исключительно русская. Мир так прекрасно устроен, что большевистский опыт представляется им никчемной тратой времени и средств.

Безуглый опустил голову. Мысли, не высказанные в разговорах с Замбржицким и Агаповым, пронеслись в сознании стремительной путаницей.

Коммунист думал, что мир еще напоминает стойбище дикарей. Города дымятся первобытными кострищами, зажженными на тысячелетия. Небо над ними мутно от копоти. Днем и ночью у огней человеческая суета, скрежет и звон металла. Люди куют ножи и поют каннибальские песни. Они с гордостью хранят одежду, снятую с убитых врагов, отнятое в боях оружие, знамена. Человек охотится за человеком, как зверь за зверем. Отцы у очагов рассказывают сыновьям о своих кровавых набегах на соседей. Всемирная история слагается, как эпос зверобоев и завоевателей...

Человек, извлекая из недр природы каждую новую находку, прежде всего думает о пригодности ее для убийства. Изобрел газ и стал душить им врага. Открыл бактерии и решил заменить ими пули. Сделал радиопередатчик и задумался над возможностью истребления армии противника на расстоянии. Все величайшие свои открытия он обращает в мечи и заносит над шеей соседа...

Люди надевают шлемы и латы прорезиненных противогазов. Лицо человека превращается в рыло длиннохоботной свиньи. В маске никому и ничего не стыдно...

Некоронованные фараоны воздвигают себе пирамиды из чистого золота. Негр в белых перчатках, Поликарп Петрович, — плохой сторож. Сюда нужен солдат в свинообразной маске, армия рабов-автоматов. Очень желательно организовать все по Фуллеру и тысячей хороших машин вырубить боеспособное население противника...

Машина вот только отказывается слушаться человека, из раба превращается в деспота. Человек сам создал вторую враждебную стихию — вещь. Он в страхе тушит домны и проклинает технику. Бидарев в Европе сейчас мог бы сделаться самым модным философом. Семен Калистратович выступил слишком рано, во второй половине XIX столетия, поэтому и не был услышан. В наше время капиталистическому миру не найти для себя лучшего пророка...

— Товарищи, перед нами два пути — или включиться в круг мирового идиотизма, или попытаться выйти из него. Мы выбрали второй путь. Ошибается тот, кто думает, что колхоз — дело деревенское, маленькое и только русское.

Безуглый движением головы откинул волосы, спустившиеся на брови, потом рукой расправил их на лбу. Он всегда прикрывал большую родинку.

— Коллективизация сельского хозяйства — задача огромная и трудная. Мы отдаем себе в этом отчет. Управлять — значит предвидеть. Партия с открытыми глазами идет навстречу всем трудностям. Она знает, что они будут преодолены.

Коммунист поискал глазами на столе стакан с водой. Никто не понял, что ему нужно. Он вытер сухие губы носовым платком и продолжал:

— Вы по своему опыту знаете, какое бешеное сопротивление оказали враги первым вашим шагам. Вам хорошо известно, что враг не всегда шел на нас лобовой атакой, он умел маневрировать и действовать тихой сапой. Не нужно быть провидцем, чтобы сказать, что многое из пережитого вами придется еще раз вынести на своих плечах молодым колхозам.

Марта Карловна наконец догадалась, что оратору нужна вода. Она сама сходила в кухню и принесла ему

холодный, запотевший стакан. Он наскоро сделал несколько больших глотков.

Безуглый кончил говорить, сел. Коммунары на руках вынесли его на улицу и стали качать. Из карманов у него вылетали расческа, самопишущее перо, записная книжка, несколько листков бумаги, старая газета. Митрофан Иванович подобрал все карманное имущество коммуниста.

Два листка привлекли внимание учителя. Ему показалось, что Безуглый пишет стихи. На бумаге справа и слева были оставлены большие поля. Запись шла узкой полосой. Митрофан Иванович очень любил художественную литературу, почему и почувствовал сильнейшее желание погрузить глаза в строки поэта. К несчастью, он был близорук, а очки остались дома.

Безуглый в последний раз взлетел на воздух и закричал:

— Товарищи, довольно! Стрелять буду! Кишки изорвали!

Коммунары с хохотом поставили его на ноги, окружили тесным кольцом. Безуглый покачивался, как пьяный, приглаживал разлохматившиеся волосы, обдергивал рубаху, щупал пуговицы. Митрофан Иванович бочком протискался к нему, подал все собранное на траве и спросил:

— Стихи сочиняете?

Учитель показал листки. Коммунист заглянул в них и посветлел.

— Вы обнаружили у меня действительно большую поэму. Я ее иногда читаю на собраниях. Хотите посмотреть?

Митрофан Иванович покраснел, точно Безуглый знал о его бесплодных попытках.

— Очень интересуюсь. Беда моя — очки забыл.

Безуглый провел пальцем по листку сверху вниз.

— В одну колонку у меня выписаны даты с 1897 года по

1917. Видите — 901, 902, 903. Особенно интересны восьмой, десятый, одиннадцатый и двенадцатый: арестован в Баку, сослан в Сольвычегодск, бежал, опять арестован в Баку, водворен по месту ссылки в Сольвычегодск, бежал в Петербург, арестован, снова сослан в Сольвычегодск, бежал в Петербург, арестован, бежал, принял участие на конференции в Праге, арестован, сослан в Нарымский край, бежал, приехал в Краков на совещание...

Безуглый засмеялся.

— Вы понимаете, этого человека не могли удержать ни тюрьмы, ни пустыни Сибири, ни границы. Его сажают в каждом городе, где он работает, везут в арестантских вагонах по всей России, от Питера до Иркутска. Он точно ничего этого не замечает и спокойно отправляется по своим делам туда именно, куда ему нужно. Смотрите, какие у него маршруты — из Новой Уды Балаганского уезда в Тифлис, оттуда в Таммерфорс, в Стокгольм. в Лондон. Я подсчитал — он семь раз был сослан и шесть раз из ссылки бежал. Однажды только удалось немного задержать его на Енисее в Курейке. Человек этот, несмотря на совершенно неистовую подпольную работу, ни разу не был схвачен с вещественными доказательствами. Охранке никогда не удавалось создать против него судебного дела. Какими исключительными организаторскими способностями надо было обладать, чтобы так работать!

Безуглый спрятал листки в записную книжку.

— Не каждому дано сочинить такую поэму. Вы знаете, чья это жизнь?

— Шутите, Иван Федорович. У нас пионер любой вам скажет...

Масленников подвел Безуглому коня. Коммунист полез в карман за деньгами. Несколько человек закричали в один голос:

— Обидеть хочешь, Иван Федорович! Неужели у нас для гостя!..

Гость сел в седло. Митрофан Иванович спросил:

— Фуражку, видно, у меня забыли?

Безуглый не ответил на вопрос учителя, хлестнул лошадь. Митрофан Иванович крикнул:

— Фуражку забыли!

Безуглый работал плетью и, не оглядываясь, скакал к околице коммуны.

Из Белых Ключей лес сплавлялся и плотами, и мулем. Анчи с сыновьями — Эргемеем и Эрельдеем — шел всегда мулем до Марьяновского рудника и только там вязал плоты. Безуглый с высокого берега Талицы увидел всех троих. Алтайцы брели по колено в воде, с длинными жердями на плечах, в синих своих халатах с подоткнутыми полами и в круглых меховых шапках с кисточками на макушке. Бревна плыли по реке табуном коней. Они сбивались плотными кучами на тихих и глубоких местах, останавливались на шиверах или вдруг, по два, по три забегали в заводи. Эргемей и Эрельдей гонялись за ними, словно пастухи, с укрюками и собирали раздурившихся на середину реки. Коммунист закричал:

— Эзень!

Он заметил, как у отца с сыновьями блеснули на лицах улыбки. Алтайцы, не останавливаясь, прокричали ему ответное приветствие. Они спешили. У них был жесткий договор. Лес сплавлялся на постройку Турксиба.

Безуглый дернул повод. Впереди, у въезда в ущелье, закрутился вихревой столб пыли. Коммунисту он напомнил шамана в развевающихся лохмотьях. Пыльный шаман поднялся над дорогой и исчез за горой. Всадник въехал в сырую и темную каменную щель. Лошадь пошла по тропе вдоль мелководной, шумливой речки.

Безуглый не выспался у Агапова, чувствовал слабость в ногах и спине. Дремота несколько раз пригибала ему голову к луке седла. Всадник вздрагивал от сырости. Он словно мокрой ночью проезжал через всю свою жизнь. Коммунисту чудилось, что длинный синий Нестер Степанович кладет ему на плечи свои холодные ладони. Он был мальчиком, когда Нестер Степанович приходил к ним в дом. Его повесил царский генерал, усмиритель Меллер-Закомельский. Иван и Федор в ночь после казни дважды вскакивали в слезах с постели. Ивану тогда приснился первый страшный сон. Он увидел виселицу, перекладина которой чернела наравне с золотым крестом церкви. Ноги у Нестера Степановича болтались двумя тонкими нитками до самой земли

— Ваня, иди на улицу и посмотри, не приведет ли кто из наших шпика.

Мальчик одевался в драповую кацавейку с протертыми локтями, нахлобучивал на уши фуражку. Мать заматывала ему шею толстым шарфом. Он выскальзывал из двери и спускался с крыльца в дождливую непогодь, точно сходил по ступенькам купальни на дно холодной и быстрой реки. Мощное течение качало его, как тонкую камышинку. Он затаивался в черной нише калитки, сжимал в похолодевшей руке единственное свое оружие — перочинный нож. К дяде шли люди. Они или торопились, оглядывались, прятали лица под шляпами и в воротниках, или разыгрывали из себя гуляющих, беспечно насвистывали, медленно входили на крыльцо. Ваня иногда видел, как за одним человеком на некотором расстоянии шел другой. Один скрывался за дверью, другой, словно его запоздалая тень, оставался на улице. Мальчик заскакивал во двор и бросал в окно маленький камень. Человек выходил обратно, уводил за собой тень, чтобы потерять ее и вернуться одному.

Стремена давили ноги спящему, как кандалы. Он во сне искал подкандальники. Шорох волчка и надоедливый глаз надзирателя были несносны. Крест тюремной церкви торчал, как золотая перекладина виселицы. Безуглый сердился на Анну. Она спрятала подкандальники.

Ущелье расширилось и посветлело. Всадник стукнулся головой о выступ скалы, вскрикнул и стал тереть ушибленное место. Ему пришлось протереть и глаза. Он остановил лошадь. Дорога уперлась в голубой туман. Туман колыхался до снежных гор на горизонте, точно лежал на море. Он менял окраску, лиловел, зеленел. По нему большой стаей плыли звери — темные, горбатые, похожие на тени туч. Звери мелькнули на далеком берегу и скрылись за снежными горами. Облака, словно ледники, широкими торосистыми потоками наползали на белые вершины. Небо за ними было багровое, в полосах седого, горячего дыма вулканов.

Безуглый поднял к глазам бинокль. Мираж рассеялся. Он увидел степь. Овцы бродили по траве белыми тлями. Дороги лежали, как брошенные ременные арканы. Всадник услышал глухой гул моторов. Он нарастал размеренными всплесками, словно прибой.

Бинокль переместился вправо. Длинная черная шеренга тракторов двигалась из глубины степи к дороге. Ножи плугов резали землю. Степь за ними, точно вода, распаханная бурей, темнела, волновалась гребнистыми, дымными бороздами.

Безуглый разыскал и совхоз — два двухэтажных деревянных дома, службы, улицу белых палаток. Белые палатки виднелись и километрах в десяти от главной усадьбы. На дороге, в небольшой ложбине, он разглядел три неподвижных трактора и около них несколько человек. Всадник пустил коня рысью.

Тракторы, как танки, ровной цепью приближались

к дороге. Коммунист теперь видел синие комбинезоны и очки-полумаски. Люди на грохочущих машинах показались ему марсианами из фантастического романа.

Безуглый подъехал к тракторам на дороге. Четверо в запачканных и потемневших спецовках суетились с ключами, один, чистый, стоял в стороне и курил трубку. Коммунист сразу узнал в нем иностранца. Русский тракторист подтвердил:

— Мистер из американцев, по-русски мало-мало талалакает.

Безуглому хотелось поговорить с американским специалистом о работе совхоза. Американец оглядел его и сказал тоном, не допускающим возражений:

— Я не говорйю плохо о мой фирм.

Русский тракторист оскалил белые зубы.

— Насчет самокритики они ни бум-бум, молчуны.

Безуглый возразил:

— Я вас спрашиваю не только о недостатках.

Американец мотнул трубкой в сторону усадьб

— Директор разговаривает все вопросы.

Мотор одного из тракторов заревел. Невысокий, широкоскулый тракторист-алтаец сел за руль. Машина пошла по краю распаханного поля. Русский инструктор закричал:

— Держи колесо по борозде!

Алтаец ответил, не обертываясь:

— Тержу порозта!

Безуглый еще раз осмотрел в бинокль усадьбы совхоза. Он увидел высокий золотой от заката сруб. Над ним блестели топоры плотников. Щепки разлетались в разные стороны кусками золота. В нескольких километрах от дальней группы белых палаток дымились землянки. В них окопались кулаки, выселенные судом из соседнего села.

В совхоз коммунист не заехал. У него не было времени. Он свернул в горы.

На воротах дома Мелентия Аликандровича Масленникова младшего белелся большая самодельная афиша. Кержаки, проходившие утром в молельню, останавливались около бумаги и качали головами. На афише кривыми зелеными буквами было намалевано:

Индусские факиры Фердинанд и Франц родом были из Костромы и носили в карманах своих пиджаков самые настоящие советские паспорта на имя Трифона и Тимофея Волосянкиных. Братья — люди любознательные — захотели перед своим выступлением послушать кержацкую службу. Молельня была в ограде Андрона Агатимовича Морева. Хозяин встретил артистов у крыльца и, узнав, что им нужно, предупредил:

— Не опоганьте, граждане, нам молитву, не вздумайте молиться на наши иконы.

Фердинанд и Франц переглянулись, белесые брови сначала пошли было у них к переносицам, потом они расхохотались и, не сказав ни слова, ушли со двора, Андрон Агатимович посмотрел на вихляющиеся пиджачки братьев, на их короткие брюки и пробормотал:

— Скоблены рожи.

Братья были близнецами. Младшего, Тимофея, отличали от старшего, Трифона, только по синей татуировке на руках. Он долго служил во флоте.

Андрон Агатимович поднялся на крыльцо, вымыл руки и вошел в молельню. В большой комнате, разделенной в длину на две половины синей, китайского шелка, занавеской, плотно стояли молящиеся. Мужчины — по правую сторону занавески, женщины — по левую. Фис Канатич правил службу по старой затрепанной книге в кожаном переплете. Ему подпевали все, кто умел. Анд-

СЕГОДНЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ ГАСТРОЛЬ ФЕНОМЕНОВ XX ВЕКА ИНДУССКИХ ФАКИРОВ И АТЛЕТОВ БРАТЬЕВ ФЕРДИНАНДА И ФРАНЦА ДЕ-ГИБРАЛТАРО ДИ-КАЛЬКУТА, КОТОРЫЕ ИСПОЛНЯТ РЯД ГЛАДИАТОРСКИХ НОМЕРОВ В ОБЛАСТИ АТЛЕТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА МЕЖДУ КОИМИ НА ГЛАЗАХ ЗРИТЕЛЕЙ

ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ

АДСКИЙ НОМЕР — ГОЛОВА КАМЕНЬ

ЭФФЕКТНЫЙ НОМЕР — СУВОРОВ МОСТ

РЕКОРДНЫЙ НОМЕР —

ГИБ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ БАЛКИ

СЕНСАЦИОННЫЙ НОМЕР —

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ

ИЛИ

ЖИВОЙ АТЛЕТ ФАКИР В ГРОБУ

ТО ЕСТЬ

ЗАЖИВО ЗАКОЛОЧЕННЫЙ В ГРОБ И ПОГРЕБЕННЫЙ В ЗЕМЛЮ НА 216 САНТИМЕТРОВ СРОКОМ НА 35 МИНУТ

ВНИМАНИЕ

ЭТОТ СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР ИСПОЛНЯЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ЖЕЛЕЗНЫХ НЕРВ ЧЕЛОВЕКА И ЧИСТЫХ ПОР ТЕЛА

НАЧАЛО РОВНО В 12 ЧАСОВ НА ПЛОЩАДИ

ПЛАТА

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ С ПУБЛИКОЙ

ДЕНЬГИ ВПЕРЕД

рон пробрался на свое место вперед, широко перекрестился на три ряда полок с темными иконами.

Морев не смог отдать свои мысли богу. Он думал о разном и глядел по сторонам. Дедушка Магафор стоял у окна под солнцем. Брови, усы и борода у него матово белели, как в густом инее. Голова была литого старого с прозеленью серебра. Старик жил второй век. Фис Канатич листал книгу, испещренную замысловатой славянской вязью. Древние, кривые письмена извивались на засаленных страницах, как тонкие черви. Свечи, прилепленные к полкам с иконами, мигали и чадили. В дверь дул жаркий, запашистый, покосный ветер, колыхал синюю занавеску. Луч солнца белым длинным ножом торчал из окна. На нем играли бесчисленные пылинки. Пыли было много в углах и на боковых лавках, заваленных священными книгами. Она вздымалась до потолка каждый раз, как только бороды верующих рассекали воздух в земном поклоне.

Чащегорев читал на один лад о радостях и о страданиях, мерно перевертывал страницы. Голос его жужжал, как вода в камнях, бумага шелестела тихими волнами. Люди пели тоскливо, точно выли на берегу безжалостного моря.

Старики в узких, длиннополых, прозеленевших кафтанах заспорили с начетчиком о молитве, которую, по мнению одних, надо было петь сегодня, а, по утверждению других, не следовало. Морев воспользовался шумом и незаметно вышел на двор.

Морев любил в праздник походить по своему хозяйству. Он заглядывал в каждый угол — в темный голобец, где из глиняных корчаг точилось тонкими ручьями пиво, и в теплые стайки к скоту. Дом у него был двухэтажный, под зеленым железом, с балконом и прирубами. Двор

замощен деревом. Ворота резные, нарядные, как иконостас. На наличниках красовались вырезанные из дерева желтые, ветвистые маральи рога. Рога горели, как золотые, на стенах, окрашенных в цвет неба.

Лепестинья Филимоновна с беспокойством смотрела из окна на своего хозяина. Он ходил по ограде, уронив на грудь голову, вслух разговаривал сам с собой. Лепестинья Филимоновна сказала снохе:

— Ровно ума решился наш Андрон Агатимыч.

Много мыслей было у Андрона Морева, думал он долго:

«Чо за власть, — то ей посев увеличивай, премия тебе, обратно за тот же урожай в последни люди... Ране знал, кому и сколь дать. Становому — одна цена, уряднику — другая. Нонче не разберешь... Ужсли я Ивана Федоровича не куплю?»

Морев привык покупать людей, поэтому не мог себе представить иных отношений с Безуглым. Он вспоминал свои встречи с коммунистом, искал скрытый смысл в его словах и поступках.

«На белке товда он со мной разговаривал, вроде упрежденье делал — зорить будем. Скоро, мол, придем, прибери все к месту. Не мог он мне напрямки сказать при алтаишках, при Помольцеве. Може, и из гордости не сказывает себе цену. Намек дает — я вам многим обязан. Спасибо, значит, за старое, давай за новое. Догадывайся, мол, сам, сколь мне с тебя нужно. Не миновать воз, не то два хлеба везти его потаскушке... Некуды тебе, Иван Федорыч, помимо меня податься. На охотку-то мои кони тебя возили. Не таких видали мы на веку. Отец Пантелеймон Спасителев, бывало, аж надуется, скраснеет весь и норовит крестом тебе голову сломить. А как дашь ему рыжичков десяток, он и смякнет, опадет ровно опара...»



Кержак тихо засмеялся.

«Бедноту наново удумали организовывать. Ково они там без меня, опеть ко мне сбегутся, как маралишки в двадцатом годе».

В 1920 году Морев, чтобы спасти от пуль гражданской войны своих маралов, выпустил их из сада в горы. Звери, привыкшие к готовому корму, в первую же зиму вернулись к хозяину.

С 1923 года после массового выхода из коммун бедняки снова стали наниматься в батраки к кулакам. У Андрона Агатимовича с кумом Феепеном в ту пору произошел веселый разговор:

— Как, кум, дела?

Феепен Пахтин ухмыльнулся.

— Дела хороши.

— Кумына-то у вас как?

— Нету.

— А шпана?

— Сколь хотишь, в батраки набиваются.

Оба кержака весело зафыркали.

Мореву иногда казалось, что все пойдет по его желанию. Ему только не удавалось убедить себя, что и на этот раз колхозы возникнут ненадолго, потом развалятся, и все будет по-старому. Он был достаточно умен, чтобы правильно оценить серьезность надвигающихся событий. Андрон Агатимович бродил по двору, как слепой.

Морев не заметил, как кончилась служба в молельне. Народ начал собираться на площади, где индусские факиры, братья Волосянкины, заканчивали последние приготовления. Дедушка Магафор тоже утянулся вместе со всеми поглядеть на бродячих комедиантов.

Андрон Агатимович остался один в ограде. Он видел в приоткрытую калитку, как мимо провезли большой

черный гроб с длинными белыми крестами. В нем Тимофея Волосянкина закапывали в землю. На площади были слышны выкрики артистов, гул толпы и плеск ладоней.

Хозяин ушел в стайку к вороному жеребцу, своему любимцу. Конь, точно цепной пес, скалил на него зубы, храпел и норовил ударить задом. Андрон Агатимович смело наступал на него, бил ладонью по гладкому крупу.

— Ну, дурачок!

Глаза у коня были лиловые, злые, грива синяя. Хозяин заглянул в кормушку. Овес лежал несъеденный.

Морев вышел из стайки, прислушался. На площади истошно вопила женщина.

— А-а-а-й! А-а-а-й!

Андрон Агатимович услышал тяжелый топот сотен ног. Он мелкими шажками подбежал к воротам и осторожно высунулся на улицу. Люди воровато разбегались по домам. Дедушка Магафор приковылял с палочкой, розовый, веселый. Старик прошамкал внуку:

— Шкоморох жадохся.

Магафор тихо захихикал.

— Лопатки шпрятали.

Над факирами зло подшутили. У них спрятали лопаты, которыми надо было во-время откопать Тимофея-Франца. Факир Франц де-Гибралтаро ди-Калькута задохнулся в гробу. Актер умер в муках — вырвал себе все волосы и изгрыз пальцы. Он лежал, скрючившись, лицом вниз. Белая «индусская» хламида на нем топорщилась, как измятый саван. Над мертвецом ломала руки и выла его жена — толстая женщина с накрашенными губами, в короткой, красной юбке и оранжевой шелковой косынке. Трифон-Фердинанд стоял в полосатом трико, голоногий, бледный, немой, с мертвыми глазами. Площадь была пуста.

Андрон Агатимович задрожал, густая краска вдруг пробрызгнула у него по всему лицу

— Так им и нада! Не отводи глаза! Не омманывай народ!

Ему хотелось бежать на площадь и своими руками задушить второго брата. Он потрясал кулаками и орал на всю улицу:

— Скоблены рожи, легких денежек захотели!

Гнев давил ему горло.

— Земля шутить с ей никому не дозволяет!

На Алтае наступало веселое время. У маралов спели рога. Мараловоды караулили набухание целебных пантов — подолгу простаивали в своих садах за высокими лиственничными изгородями.

Андрон Агатимович Морев справедливо считал, что корм у маралов в рогах. Он не жалел овса для своих зверей, поэтому рога у них были больше, тяжелее и вызревали в самые ранние сроки. Срезку рогов в Белых Ключах первым начинал Морев: Ежегодно в начале июня Андрон Агатимович созывал соседей «на помочь» и отправлялся с ними в маральник. Маралов у него было тридцать три штуки, быков-рогачей — девятнадцать.

В последний раз на срезку рогов Морев выехал с небольшой кучкой друзей. С ним были его старший женатый сын, недоросль Малафей, и четверо помочан — Мамонтов Ивойла Викулович, Чащегоров Фис Канатич, Бухтеев Евграф Зотеич и Пахтин Феепен Фенопентович. Выехали с вечера, чтобы по утренней заре начать загон зверей.

Ночевали прямо у изгороди сада, около большого костра. Коней расседлали, стреножили и пустили на траву.

Андрон Агатимович спал плохо. Он все думал. За изгородью встревоженно бродили звери. Костер их беспо-

кмил. Стуки звериных копыт на твердых взлобках напоминали заглушенные удары камня о камень. В отдаленьи немолчно текла Талица. Вода в ней точно кипела, с шипением и бульканьем. Туман нависал густым, белым паром, заволакивал небо. Перепела, как пастухи, били звонкими бичами, стерегли своих самок. Коростели бегали вдоль невидимых частоколов и трещали о них косами.

Угли в костре лопались с треском, как красные орехи. По другую сторону изгороди стояла ручная маралуха Тонконожка и смотрела на огонь темными, человечьими глазами. Андрон Агатимович несколько раз вставал к ней и кормил ее из рук хлебом. Он ласкал и баловал молодую маралуху за ее редкостные глаза. Они были у нее такие же большие и печальные, как у погибшей Сусанны.

Морев в молодости любил Сусанну. Она любила другого. Родители девушки были на его стороне. Он считался в селе первым женихом. Другой решил обвенчаться с ней убегом. Убежать им не удалось. Родители настигли жениха с невестой на полпути. От побоев жених долго хворал. Сусанна дала отцу слово выйти за Андрона. В ночь перед свадьбой она выбежала из дому в одной рубахе и бросилась в Талицу. Труп ее, распухший и изломанный, нашли через две недели в двадцати верстах ниже Белых Ключей. Соперники потом встретились, и Андрон сказал другому:

— Раз не мне, так лучше никому.

Восьмилетний вожак с пудовыми, ветвистыми рогами водил стадо с места на место. Звери долго ходили по глубокой тропе вдоль изгороди, напрасно искали выход. На крепком заплоте белели черепа погибших при загонах, точно белоголовая звериная смерть стояла у всех углов и берегла дорогу на волю. Человек очертил на

земле круг, указал зверю ходить по нему от рождения и до конца дней. Он даровал ему жизнь в неволе и муках. Зверь должен был каждый год отдавать человеку свое драгоценное оружие — золотые окровавленные рога.

Осенями маралы-самцы дрались за самку. Соперники налетали друг на друга, как безрукие борцы. Они бились жалкими, короткими культяпками-пеньками. От беспомощной этой безрукости и неволи любовная трубная песнь одомашненного марала уступала в ярости страстному реву дикого. Она превосходила его своей скорбной певучестью.

Во время гона Илья Дитятин всегда ездил в маральники, по заре слушал звериные тоскливые, страстные песни и нередко у себя на щеке ловил соленую слезу.

За горами невидимо поднималось солнце, страшное, как костер. Звери, не останавливаясь, ходили по замкнутому кругу. Люди ловили коней, затягивали у них под животами толстые седельные ремни. Из села спешил верхом дед Магафор. Старик ехал пить звериную кровь. В сером, рассветном тумане он черной тенью мелькал с горы на гору.

Андрон Морев перед въездом в сад перекрестился и сказал помочанам:

— Со восподом, граждааны.

Он пропустил мимо себя всех четверых.

— Нонче ни зверя, ни коня беречь не будем.

Морев закрыл ворота.

— Своими руками все хозяйство нарушу.

Малафея поставили в конце длинного открылка у ворот в крытый загон. Съемочного станка у Андрона Агатимовича не было. Он предпочитал срезку рогов свалом.

Всадники рассыпались лавой и поскакали.

Мамонтов был толст и высок. Борода у него распол-

залась по животу черной тучей. У Морева, Бухтеева и Пахтина бороды задрались на плечи рыжими гривами. Чащегоров, голощекий и круглолицый, походил на пожилую женщину в длинных чембарах.

Маралы бурой стаей спугнутых птиц мелькнули по зеленому склону и понеслись над землей. Под острыми копытами трещала и сыпалась искрами мелкая каменная пыль. Ноги у зверей были напряжены, как струны, рога закинуты на спину. Рога почти не колебались в неистовом беге. Звери несли их бережно, как хрустальные хрупкие сосуды.

Магафору казалось, что маралы со страшной быстротой плывут по воздуху. Старик, прижавшись лбом к изгороди, жадно следил в щель за гоном.

Тугой холодный ветер бил всадникам в лицо. Они скользили, точно на лыжах, по следам зверей. Рога над стадом, как заросли кустарника, то редели, то густели. Загонщики отжимали рогачей к узкому рукаву, старались отделить их от самок и телят.

Андрон не раз зимой по глубокому снегу гонял на лыжах и ловил живьем диких маралов. Он забыл, зима сейчас или лето, снег под ногами у лошади, лед или камень. Он ничего не видел, кроме бегущих зверей. У него была только одна мысль — загнать.

Первым заскочил в крытый загон поджарый, полнорогий, шестилетний зверь. В стаде он был третьим по силе.

Лепестинья Филимоновна и безбровая Пестимея подъехали к маральнику со сменными конями. Хозяйка привезла загонщикам свежих шанег и два туяса медовухи.

Андрон не пустил женщин в загон, чтобы они не испугали запертого марала. Загон был щелявый. На зверя легли узкие, длинные полосы света. Он стоял, весь полосатый, точно опутанный светлыми ремнями, и мелко

вздрагивал. Зверь дышал трудно и тревожно. Тревога трепетала у него в точеных, сухих ногах, в тонких, темных ноздрях, на концах мягких, шерстистых пантонов. Загонщики длинными палками осторожно подсунули под ноги маралу сыромятные ременные арканы. Палки беспокоили, пугали марала. Он переступал с ноги на ногу и попадал в петли.

Лепестинья Филимоновна полезла в загон с туяском для крови, как только увидела, что ноги зверя накрепко стянуты ремнями.

Загонщики медленно потянули на себя арканы. Задние и передние ноги у спутанного стали сближаться. Зверь задрожал весь, взмахнул своими ломкими сучьями и, как подрубленное дерево, мягко повалился на бок. Помочане легли на него, прижали к земле. Лепестинья Филимоновна положила маралу на глаза белую холщевую тряпку. Андрон давно стоял с пилой наготове. Он упал на колени, схватился за рог и начал пилить. Рог был мягкий и теплый, как волосатая рука. Пила хрипела и хлюпала, точно Андрон пилил в воде. Кровь выметывалась со свистом, пачкала пальцы и расползалась по белой тряпке.

Магафор на четвереньках, лохматый, весь в белом, подполз к окровавленной голове зверя и припал к ней беззубым ртом. Пеньки рогов были, как тугие сосцы на волосатом брюхе медведицы. Старик мял их голыми деснами, захлебываясь и сопя, сосал красное, соленое молоко.

Лепестинья Филимоновна стала трясти старика за плечи.

— Дедушка, будя, другого пососишь, зверь заслабеет.

Он с трудом оторвался от головы марала и посмотрел на нее пьяными, блуждающими глазами. Косматый рот у него был в крови, как пасть белого медведя, задравшего

тюленя. Магафор отполз в дальний угол загона, лег и сразу задремал. Лепестинья Филимоновна посмотрела на него и сказала:

— В пользу дедушке кровь пошла, ишь, дремлется ему.

Помочане разом встали с марала. Малафей спрятал у себя за спиной снятые рога. Марал вскочил, зашатался, как новорожденный теленок, широко расставил ноги. На лбу у него красной бахромой висели сгустки спекшейся крови. Кровь текла из пеньков маралу в глаза, каплями падала на землю. Зверь точно плакал. Андрон помахивал на него арканом, ласково приговаривал:

— Ну, поди со восподом, поди.

Марал комолой коровой дрябло затрусил из загона.

Магафор сквозь дремь услышал, как опять грузно затопали в маральнике кони и защелкали на камнях легкие копыта зверей.

Рогачи забегали в загон один за другим. Малафей захлопывал ворота ловушки. Звери со спутанными ногами падали на землю, роняли рога, бились под тяжелыми телами людей. Люди припадали к сладостным сосцам, как дети, чмокали губами.

Кровь пили все Моревы, Мамонтов, Чащегоров, Бухтеев и Пахтин. Пестимея и Лепестинья Филимоновна вымазали себе щеки. Мужики окровянили бороды.

Рога маралов, словно воздетые к небу руки, мелькали перед глазами Магафора. Черепа хрустели, кровь хлюпала, окрававленное золото звенело в сундуках. Он плыл на льдине через всю Россию и промышлял в море. Магафор не разбирал, кто у него на пути — зверь, человек, русский, алтаец, киргиз, — он рубил.

Восьмилеток-вожак не хотел итти в открылок. Загонщики гоняли его одного, — марал не давался. Андрон прижал уже запалившегося зверя к горелой сухой лист-

веннице на середине маральника. Рогатый раб неожиданно взбунтовался. Он по-волчьи защелкал зубами и быстро, как копьем, ударил коня передней ногой в ребро. Ребро проткнуло сердце. Конь грохнулся на землю. У марала серой тряпкой вывалился язык. Он, задыхаясь, сел на зад и тихо лег. Андрон отстегнул от седла топор и с плеча рубанул зверя немного выше глаз, поперек всего лба. Морев вырубил панты с куском черепной кости, крикнул помочанам:

— В каперации получу, как за дикого!

Загонщики привязали к изгороди пегих от пота коней, пошли на стан. За ними брела Тонконожка, мордой толкала Андрона в спину. Она просила хлеба.

Андрон остановился, посмотрел на маралуху. Тонконожка шершавым языком начала лизать у него руки. Он закрыл полой пиджака ее покорные, ласковые глаза и закричал:

— Товарищам тебя не покину!

Нож висел у него на поясе. Он резанул ее по горлу от уха до уха. Тонконожка захрипела. Хозяин оттолкнул от себя свою любимицу. Она упала на траву, завиляла коротким, овечьим хвостом.

Морев, устало переминаясь с ноги на ногу, оглядел сад. Рогачи, уцелевшие от гона, и самки с телятами жались к одному углу пугливым, дрожащим табунком. Вожак, бездыханный, лежал под лиственницей рядом с мертвым конем. В разных концах маральника валялись и бродили запаленные звери с обезображенными головами. Гон был нехозяйский.

Морев носком сапога пошевелил ухо Тонконожки и вдруг остервенело заплясал, запел:

Ах, тах, тирдардах,
Разобью Мотаню в прах,

Чтобы глаз мой не глядел,
Никто б Мотаней не владел...

Хозяин плясал с широко раскинутыми руками, один в своем опустошенном саду, пьяно скалил зубы.

Рога под крышей загона висели ровным рядом срезанных сучьев. Охотники храпели, задрав в небо окровавленные бороды. Фиолетовые мухи ползали у них по лицам. Пестимея подкладывала дрова под большой чугунный котел. Дым шел прямо и высоко. Лепестинья Филимоновна, крякая, рубила топором ободранную Тонконожку. Малафей зевал и почесывал свою вершковую редкую бороденку.

Снежные вершины покрылись красными пятнами заката, точно на них упали огромные капли горячей звериной крови. Лиственница торчала над маральником обломанным мертвым рогом зверя.

Продавец из кооператива Иван Иванович Шеболтасов заехал по делу к Поликарпу Петровичу Агапову вскоре после Безуглого. Шеболтасов прямой дорогой и без остановок обогнал коммуниста, вернулся в Белые Ключи на сутки раньше. Под окна к Мореву, а потом и в дом он угодил к началу пировья, устроенного по обычаю после срезки рогов.

Андрон Агатимович мельком взглянул на продавца и сказал ему:

— Проходи, Иван Иваныч, гостем будешь.

Шеболтасов присел у дверей на лавку, фуражкой обмахнул запыленные сапоги, красным платком вытер с лысины пот. Лепестинья Филимоновна с поклоном подала ему полный ковшик. Шеболтасов сквозь длинные рыжие, редкие усы подул на медовуху и за один вздох втянул в себя сладкое и хмельное питье. Фис Канатич тонким и медовым своим голоском рассказывал индусскую ле-

генду о сотворении земли. Хозяин и гости внимательно смотрели ему в рот.

— И вот, значит, граждане, довелось мне услышать от этого самого знаменитого ученого, от Григория Иваныча Потанина, одну умственную и справедливую сказку. Он своей рукой списал ее в книгу в Индейском царстве. Сказывают эти индеи, что в одно распрекрасное время богиня Жаму позвала к себе богиню Гму, дала ей подол земли и наказала сотворить из нее нашу землю, животных и людей. Землю, говорит, изладь ровной, гладкой, чтобы не было на ней гор. Людей всех сделай равными, ни богатых, ни бедных чтобы не было. Иди, кидай из подола землю и приговаривай: «Где горам быть, чтобы не было гор. Кому богатому быть, не быть богатым. Кому бедному быть, не быть бедным».

Фис Канатич умышленно сделал паузу, зачерпнул себе ковш медовухи. Слушатели томились, смотрели, пока он пил, как у него вздувалось горло.

— И вот возрадовалась богиня Гму, что ей такое великое дело препоручено, да на радостях все приговоры-наговоры и перепутала. Идет, из подола землю кидает и говорит: «Где горам быть, будьте горы. Кому богатому быть, будьте богаты. Кому бедному быть, будьте бедны».

Фис Канатич засмеялся первым, за ним захохотали все. Всем сказка пришлась по душе.

— Гму эта самая и сделала нашу землю с горами, а людей неравных, богатых и бедных.

Андрон Агатимович сказал, поглаживая бороду:

— Согласен с тобой, Фис Канатич, умственность в сказке большая. По ровному месту и вода не бежит. Гор бы не было, реки не текли бы. Все будут равны, работать никому не захочется.

Все согласились с хозяином. Хозяин спросил Шеболтасова:

— Откуда бог несет, пошто ко мне завернул, до дому не доехал?

Шеболтасов шмыгнул носом, пощупал свои широкие ноздри.

— Надобность есть в вас, Андрон Агатимович, везу вам поклон от Поликарпа Петровича.

— За поклон поклон, за память спасибо. Об другом-то сказывай.

— Другое у меня вроде как у богини Гну, тоже с наказом, только не в подоле, а за пазухой.

Шеболтасов вытащил и отдал Мореву кепку Безуглого.

— Поезжай, говорит и сотвори доброе дело, открой людям глаза. Безуглый этот, говорит, есть сын помещика и работает на старую власть, чтобы, значит, возворотить крестьян в крепостное право.

Морев недоверчиво и обрадованно спросил:

— Ну?

— Поликарп Петрович с им из одной местности и всю его родовую знает до единого человека. Дед, сказывает, первеющий садовод и богач изо всей Тамбовской губернии.

— Фуражку каку привез, к чему?

Шеболтасов пососал усы.

— Кепку эту он по пьяному делу у Поликарпа Петровича забыл. Он у него на даровщинку напустился на малиновую настойку, а она женатая.

Морев не понял.

— Это как?

— Ну, значит, с подмесью чистого спирта, со спиртом женатая, на язык, на голову высокое давление оказывает.

Фуражка пошла по рукам. На черной подкладке было отчетливо видно серебряное клеймо — Москвошвей, Москва.

Фис Канатич спросил Шеболтасова:

- Скажи, Иван Иваныч, и в меру он выпил?

Шеболтасов ощерился. У него недоставало спереди в верхней челюсти трех зубов.

— Вокурат в меру, как вышел на крыльцо, так и свалился. Ночь целую на улке проспал. Хозяйка коров доить насилу дверь открыла.

Шеболтасова расспрашивали долго, рассказ его повторяли со смакованьем. Морев спрятал фуражку коммуниста в сундук и отпустил продавца.

— Спасибо тебе, Иван Иваныч. Ввечеру приходи, мучицы насыплю. Ступай со восподом.

Шеболтасов покосился на большой лагушок медовухи и со вздохом вышел.

За столом сидели Лепестинья Филимоновна, Малафей, Пестимея, Магафор и помочане с женами. На дворе работали младший сын Мартемьян с батрачкой-сиротой Меримеей, жившей в доме под видом родственницы. Пировья настоящего не было. Оно скорее походило на вечер воспоминаний или заседание штаба армии перед выступлением на позиции. Хозяин и гости перелистывали толстую долговую книгу, подсчитывали протори и убытки. Они не забыли ничего и не собирались прощать своим должникам. Они строили и обсуждали самые точные планы на ближайшее будущее.

Хозяин говорил больше всех. Он был в селе первым человеком.

— В двадцатом годе, в самую разверстку довелось мне мимоездом побывать в Верхне-Мяконьких у своего шуряка Аристарха Филимоныча. Заезжаю и вижу в ограде у него прямо страсти господни. Шуряк с ножом, кум его Омельян с ножом, баба с топором. Один свинью супоросую пластат, другой ягушек режет, баба гусям головы рубит. Кровища хлещет, перо летит, гагаканье, визг. Я спра-

шиваю, чего, мол, ты робишь? «А не говори, Андрон Агатимыч. С переписью завтра придут». Глянул на рыжку его, — стоит, на себя не похож, маслаки да ребра одни. «Пошто — спрашиваю — коня не кормишь?» — «Плачу, — говорит, — да не кормлю. Сытый будет, — боюсь, товарищи возьмут». Созвал он меня в избу. На столе полная чаша, ровно в праздник, а дело было в пост перед рождеством. Я говорю — грех. Он мне: «Ешь, Агатимыч, все равно коммунисты заберут». Вся семья его, родова и знакомство ели аж до блевотины. На улку выбегут, поблюют и опеть за стол, только бы продукцию нистожить.

Гости засмеялись. Андрон Агатимович покачал головой.

— Ночью, бывало, выйдешь, кругом зарево, ровно на войне. Мужики жгли и солому, и сено, и дрова, лишь бы в город не заставили везти. А которы если и возили, боле того по дороге раскидывали для облегчения коней. Хозяйство у товарищей такое было, что никто не спрашивал, сколь довез, была бы отметка — трудгуж выполнен.

Андрон Агатимович поднял руку.

— Гражданы, может ли хрестьянин позабыть, как по весне товда зачала на складах мука преть, зерно загорелось, мясо, яйца стали тухнуть. Душина пошла, аж дыхание спирает. Хлеба навезли — девать некуда, ни мешков, ни анбаров нехватало. А продагенты знай свое — вези. Ну и везли и валили под окрыто небо, под вольный дождичек. Каково было хрестьянину глядеть на труд свой? Народ прямо умом помутился, со страху зачал в камень подаваться. Думали мы товда, что всеобчая эта кумына кончит нас всех голодом.

Морев поглядел на Чащегорова.

— Фис Канатич, ты, верно, думаешь, пошто он нам рассказыват, сами, мол, все знаем? Согласен, что дела эти известные. К чему же я речь веду? К тому, дорогие люди,

что коммунисты опеть на новый лад запели старые песни. Опеть хрестьянин вези в город последнее.

Морев спросил:

— Гражданы, ужели мы хуже пчел окажемся? Пчелу одну задави, все налетят, жилять начнут.

Мамонтов вздохнул, крепко свел пальцы в темный волосатый кулак.

— Ране народ был доброхочий, дружный.

Магафор ответил ему:

— Теперь штарину, как во шне видели.

Пахтин поднялся из-за стола.

— Правдедушки наши от китайца, от кыргыза отбились, неужто коммунистишек не спихнем?

Андрон Агатимович возразил куму:

— Не дело говоришь, Феепен Фенопентович. Восстанье подымать нонче дураков не сыщешь. Нам теперь надо гнуть линию другую.

Андрон Агатимович хитро прищурился.

— Наша линия такая — от дела не бегай и дела не делай. А главное — яма. Хлеб спрячь, скотинешку под нож, машины приломай, дураки в Металлторге хоть цельный плуг в лом примут, одним словом, хозяйство наруши и сиди около ямы, кормись с семейством потихоньку.

Нефед Никифорович Помольцев остановился под окном с длинным удилищем и паевкой через плечо. Морев замолчал. Помольцев поздоровался.

— Андрон Агатимыч, просьба у меня, отрежь волосков от счастливой своей бороды. Хариус на нее берется што-исть на лету, закинуть удочку не дает.

Морев захохотал и, задрав бороду, щедро махнул ножом. Он подал рыбаку клок своего золотого руна.

— Для друга я не то бороду, голову себе отрежу. Пивка выпьешь?

Помольцев оглянулся и сказал:

— Пожалуй, не откажусь.

Морев сунул ему из окна полный ковш.

— Нефед Никифорович, запомни — от Андрона плохого никто не видел. Из партизан пришел — кто тебе помог? У Андрона будет — и у всех будет. Андрон на боку лежать не любит, оттого у него и достаток.

Помольцев ничего не ответил Мореву. Он свернул в переулок к реке. Длинное белое удилище покачивалось высоко над заплотами.

В селе было известно, что у Моревых пьют. На медовуху, как муравьи на сладкое, стали сползаться друзья.

Жена Улитина, сероглазая, круглолицая нарядная Фекла, была давнишней любовницей Морева. Она пришла, как к себе в дом. Лепестинья Филимоновна помутнела лицом и подала ей ковшик. Андрон стал расспрашивать ее о делах ячейки. Фекла пила и похохатывала. Она спела ему:

Ты, миленок, мне не льсти,
Тебе меня не провести.
Я на то сама пойду,
Тебя скорее проведу.

Горбуна Пигуса Фекла встретила шутливым приветствием:

— Хозяину веселого завода почтеньице.

Морев спросил его:

— Как завод?

Пигус бледной тонкой рукой обтер свою голую лисью мордочку.

— На полном ходу, достижения выше государственных, сто один градус крепости.

Он захихикал.

— Уполномоченный Безуглый мне говорит: «Ты вреди-



тель». Я ему отвечаю: «От самогона хрестьянину одна польза, вред от него не мне, а государству».

Андрон Агатимович посмотрел на расписной потолок.

— Иван Федорович сам не дурак выпить.

Хозяин рассказал о заезде Безуглого к Агапову. Рассказ свой он повторял потом каждому новому гостю — конокраду и контрабандисту Хусаину, красноглазому пасечнику Фалалею Ассоновичу Лопатину, бедняку и пьянице Епифану Покатидорожке, председателю Желаеву, секретарю сельсовета Подопригоре, гармонисту и лодырю безусому Женьке Шераборину.

Морев был разговорчив и ласков со всеми. Он вспоминал все ошибки или преступления отдельных советских работников, обобщал их и делал вывод:

— Слепому видать, куда тянет советская власть хрестьянина. Одно слово — барщина. Сынки помещичьи за наш же хлеб нам глаза копают.

Он спрашивал гостей:

— Слыхивали ковда пословицу: «Не привязан медведь — не пляшет»? В колхозе хрестьянин будет, ровно медведь на цепи — и в лес охота, и железа не перекусишь.

Чащегоров поучал:

— За старое держись. Что старо, то свято, что старее, то правее, что исстари ведется, то не минется, ветхое лучше есть.

Морев на последнем своем пировье был добр, как никогда. Хлеб он раздавал пудами и возами. Всю ночь в амбарах у него шла возня, гремели весы. Малафей развешивал зерно и приговаривал:

— У тяти есть — и у всех есть. У тяти не будет — ни у кого не будет.

В темноте по селу из двора во двор шмыгали люди с мешками, заезжали и выезжали телеги и верховые.

Ночью много было выпито пива. Не стало от него ве-

селее хозяину. Песня, привезенная Магафором с Поморья, сама запросилась к столу. Поморы с ней выходили в море. Она была похожа на покойнишный вой. Андрон всегда запевал ее первый. Он схватился руками за голову, опустил лицо, закачался.

Ай, и где мы, братцы, будем день дневать,
Ночь коротати?

Гости хором ответили на вопрос запевалы:

Будем день дневать во синем море,
На большом взводне,
На белом гребне,
Ночь коротати глубоко на дне.

Магафор задрожал и, пришептывая, запел вместе со всеми:

Одеялышко нам — желты пески,
Изголовьице — горюч-камень.

Люди пели древнюю песнь зверобоев-рыбаков и плакали. Магафор, жилистый, костистый мясоруб и грабитель, тер глаза. Пальцы у него были темные, узловатые, как коренья. Андрон, землепашец, колонизатор и бандит, с ковшом отравленного меда в руке, обливался слезами. Лепестинья, его тихая сообщница, утирала щеки концом головного платка. Головы певцов были опущены. Они точно смотрели на дно водяной своей могилы и томились предчувствием гибели.

Сине морюшко разгуляется,
Добрых молодцев позовет гостить...

Андрон напряженно вытянул из себя последние слова:

Позовет гостить — в вековечный сон.

Он черпанул ковш, выпил и еще выпил, и еще.

В крытых темных сенях Мартемьян обнимал Меримею. Меримея шептала:

— Проходу он мне, Тяночка, не дает, лапает.

Мартемьян больно сжал руку девушке.

— Сходи к Ивану Федорычу, заяви на него, старого чорта... В голобце хлеб за фальшивой стеной... На хранение роздал Масленникову, Фис Канатичу, Желаеву...

Лепестинья Филимоновна вышла из дома. Она мочилась шумно, на всю ограду и пьяными толстыми губами шептала молитву:

— Богородица в дверях, пресвятая в головьях, андели по стенам, архандели по углам, вокруг нашего дома каменна ограда, железный тын, на каждой-то тынинке по маковке...

Она икнула громко с утробным выкриком.

— ...на каждой-то маковке по крестику, на каждом крестике по анделу и по архангелу...

Хозяйка домолилась на крыльце.

— ...андели, архандели, спасите нас...

Гости остались ночевать у Моревых.

Андрон с Лепестиньей легли па свою широкую кедрового дерева кровать.

Сон у Андрона был тревожен и страшен. Он увидел, что дом его насквозь проточили тонкие черные черви. Дом стал щелявым загоном для срезки рогов. Хозяин стоял в нем весь полосатый, словно марал, опутанный светлыми ремнями.

Пировье у Морева гремело во все окна. Безуглому не удалось проехать мимо. Андрон выскочил из ворот, схватил за повод.

— Здорово ночевал, Иван Федорович.

Глаза у кержака были красны. Нос и губы опухли. Он пил вторые сутки под ряд.

— Очень нам хотится пригласить тебя в нашу кампанию.

Безуглый отказался.

— Должность не дозволяет, значит, на людях выпить?
— Я вообще мало пью.

Андрон засмеялся громко и нагло. Коммунист увидел во рту у него мелкие, острые, как у лисы, зубы и вишневые десны.

— Жалко мне тебя, Федорыч. Пашня у твоей бабы — одно званье, жалованье получаешь малое... Друзья мы с тобой до скончения века. Однако, пришлю тебе мешечков пять пашанички, медку туясок...

— Я вас сегодня арестую.

— Не строжься, Федорыч, не таись от меня. Человек ты званья высокого, родитель у тебя не кто-нибудь... Думаешь, я не знаю?

Безуглый потемнел, изо всех сил рванул повод. Андрон повис у лошади на морде.

— Помещику без богатого мужика с деревней не совладать...

Коммунист закричал на всю улицу:

— Сейчас же отпустите повод, или я стопчу вас!

— Не шеперься, Федорыч, кепочка твоя у меня в руках. Одно только слово скажу Игоне, и не видать тебе партии, как своих ушей.

Всадник вздыбил коня. Кержак навзничь упал на дорогу. Безуглый проскакал галопом до дому. Во дворе белоголовым кружком сидели ребятишки. Они были совершенно поглощены игрой. Никто не заметил рассерженного отца. Никита изображал председателя собрания. Он тыкал пальцем в грудь пятилетнюю Настю Помольцеву и говорил ей: цем в грудь пятилетнюю Настю Помольцеву и говорил ей:

— Наська-делегатка, твоя слова.

Девочка сопела и опускала голову.

— На, бери твоя слова.

Безуглый увидел, как Настя захлопала глазами, надулась и вдруг сказала басом:

— Однако надо в колхоз писаться.

Она звонко засмеялась. Председатель ущипнул ее за бок. Безуглый захохотал вместе с делегаткой. Никита оглянулся и закричал:

— Тятя приехал!

Сын кинулся к отцу на шею. Отец на руках унес его в дом. Бабушка Анфия сидела с чулком, домовничала. Петух стоял около ее ног, вытянув шею, и с тревогой смотрел на вошедших. Бабушка захлопотала около стола.

Безуглый сел на стул, Никита к нему на колени. Сын пальцем потрогал стриженые усы отца.

— У тебя, тятя, под носом репьи. Колю-ючие.

— Ну, уж так и репьи?

— Верно слово.

Прикосновения тонких пальцев сына были необычайно приятны. Безуглый зажмурил глаза и начал бодать Никиту. Сын запустил ему в вихры обе руки. Оба долго смеялись.

За чаем Никита неожиданно опечалился, спросил у отца:

— А нельзя отбить телеграмму мамке, пускай скорей приезжает?

— Тебе зачем ее?

Никита стал чертить пальцем по блюдцу.

— Пускай бы она самовар ставила, стряпала.

— Это и бабушка может.

Никита готов был заплакать. Голова у него опустилась. Глаза наполнились слезами. Он еле выговорил:

— Ну, еще чего-нибудь будет делать.

Мальчик встал из-за стола, подошел к окну, посмотрел на огород.

— Октябрятам воровать огурцы нельзя.

Он вздохнул.

— Тятя, отчего бывает жара?

— От солнца.

— Залить ее нельзя?

— Нет...

Никита опять глубоко вздохнул. Отец дал ему большую конфету в цветистой бумажке. Он сразу повеселел и сказал бабушке Анфии:

— Фартовый мне тятька попался. Гляди, опять какая конфетина отломилась.

Безуглый поцеловал сына в голову, попросил его сходить в сельсовет за председателем и дежурным исполнителем. Никита зажал в кулаке сладкую драгоценность и выбежал на улицу. Отец услышал, как зашлепали по пыльной дороге босые ноги сына. Он конечно пустился бегом.

Коммунист достал бумагу и сел писать заявление уполномоченному ОГПУ в Марьяновском руднике.

«Мною по рассеянности оставлена фуражка в доме кулака Агапова Поликарпа Петровича, у которого я ночевал».

Безуглый сам не знал, почему он уехал с заимки с непокрытой головой. Не то стыдно было, что заснул на крыльце, не то не хотелось еще раз встречаться с Поликарпом Петровичем.

«Названный Агапов использует названную фуражку как средство для моей дискредитации и распространяет ложные сведения о моем социальном происхождении».

Коммунист перечитал написанное, зачеркнул слово «названную».

«Кулак Агапов — враг советской власти, в чем мне сам признался с полной откровен-

ностью. Считая Агапова элементом социально опасным, прошу арестовать его и привлечь к ответственности за контрреволюционную агитацию и подрыв хлебозаготовок».

Конверт Безуглый прошил ниткой и залепил сургучом.

Андрон встал с дороги, погрозил кулаком спине Безуглого. Дома он сунул за пазуху фуражку коммуниста и немедленно отправился к Игонину. Гости не расходились. Бабы затянули протяжную и печальную песню.

Полынь ты моя, полыньюшка, горькая трава...

Секретарь ячейки удивился приходу Морева, во все время разговора с ним был сух и настороженн. Андрон начал издалека.

— Вам известно, Фома Иванович, что с товарищем Безуглым у нас знакомство и дружба давнишние?

— Знакомы вы с ним с двадцать первого года, знаю. Насчет дружбы ничего не слыхал. У коммуниста с кулаком, по-моему, она быть не может.

— Восподи, ужели вы меня, Фома Иванович, признаете за кулака?

Игонин, подражая Мореву, пропел елейным голосом:

— Ужели нет, Андрон Агатимыч?

— Да вы спросите любого бедняка в Белых Ключах, ковда я кого изобидел? Ивану Федоровичу жизню спас. Грамоты почетные имею от земельных органов. Отроду против советской власти слова не вымолвил.

— Рассказывайте, зачем пришли?

Морев закрыл рот бородой.

— Не вышло бы подрыву партии от Ивана Федоровича. Верный человек говорил, что фамелия у его смененная, родом он как бы из помещиков.

Игонин зло сдвинул брови.

— Давно ли вы сохнуть стали по партийным делам?

— Я завсегда, Фома Иванович, душою болею за всю вашу дорогую революцию, опасаюсь, обвострения не получилось бы в крестьянстве.

— Вот бы вам, кулакам, радость была.

Морев сделал обиженное лицо, вынул из-за пазухи фуражку Безуглого.

— Не со сплетками бабьими пришел я к вам, Фома Иванович.

Он положил фуражку на стол.

— Ошибся, Иван Федорович, у Агапова в гостях, лишнего малость выпил. Нетверезый и уехал, кепочку даже оставил.

Игонин недоверчиво оглядывал Морева.

— Оно, слов нет, один бог без греха, с кем не случается. Однако, если тебя партия послала на такое восударственное дело, держись крепко за генеральную линию.

Морев прижал руку к сердцу.

— Спасибо скажите мне, что кепочку я прибрал и человеку, который ее привез, строго-настрого наказал, чтобы никому ни боже мой. Я ведь понимаю — один коммунист проштрафится, а на всю партию пятно.

— Зачем же вы мне его фуражку принесли? Друга своего вздумали топить. . .

Морев, как на молитве, завел глаза под лоб.

— Восподи, да для партии, советской власти я не то друга, отца родного не помилую. Вам, Фома Иванович, как первому лицу в нашем селе, одному и заявляю, от вас секретов никаких быть не должно.

Игонин больше не мог слушать кержака. Он закричал, не помня себя от злобы:

— Катись от меня к чортовой бабушке, рыжая лиса!

Морев поспешно встал. На лице у него были гордость и смирение.

— Мер если не примете, до Москвы дойду.

Игонин подбежал к нему схватил его за шиворот и вытолкнул на улицу.

Андрон вернулся злой. Борода у него моталась огненным языком. Гости пели про горькую траву.

Не сама ли ты, полыньюшка, злодей, уродилася,
По зеленому саду, злодей, расплодилася,
Заняла ты мне, полыньюшка, в саду местечко,
В саду место доброе, хлебородное...

Фис Канатич сунулся голой рожей к уху. Андрон отвернулся и громко сказал:

— Не спрашивай.

Он стукнул кулаком по столу.

— Ворон ворону глаз не выклюет.

Фис Канатич еле держался на ногах; чтобы не упасть, обнял правой рукой хозяина, левой полез ему в бороду, задребезжал тончайшей фистулой:

Налету у сокола крылышки примахалися,
От худой погодушки перья приломалися...

Под окнами мычали коровы. Они возвращались с пастбища.

Андрон усадил старика на лавку, высвободил бороду. Лепестинья Филимоновна подала ему большой ковш медовухи. Хозяин выпил, обсосал усы и заорал:

— Лепестинья, лезь в голобец, цеди медовуху в ведра, выноси на двор! Желаю угостить в остатный раз всю свою скотину!

Гости от смеха закланялись, замотались пестрой травой на ветру.

— Жеребцу тащи катанки! Пущай Воронко в обутках по селу погуляет!

Безуглый услышал скрип ступенек крыльца, посмотрел на дверь. Он ждал людей из сельсовета, чтобы итти с ними к Мореву. В комнату вошла Меримея. Девушка

тяжело дышала, глаза у нее были темны и неспокойны. Она быстро подошла к Безуглому и выпалила:

— Мы надумали сказать вам про хлеб. Морев его распрятал по разным местам.

— Кто это мы?

Меримея заметно порозовела.

— Мы с Тяной.

— Он чего с отцом не поделил?

Румянец неудержимо расплылся по щекам девушки.

— Он давно привержен к советской власти. Ему отец сколь разов говорил: «Тяночка, не в ту сторону тянешь».

Меримея рассказала Безуглому о всех ночных перевозках Андрона и его тайном зернохранилище в подполье. Безуглый встал, погладил Меримею по голове.

— Ну, спасибо тебе, деваха, на добром слове. Мартемьяну своему скажи, что если он за твоим хвостом только к нам тянется, тогда толк из него небольшой.

Дежурным сельисполнителем был Помольцев. Он шел по улице следом за Никитой. Мальчик свистел и скакал на одной ноге.

Ворота у Моревых были раскрыты настежь. В ограде Андрон держал под уздцы пьяного всхрапывавшего жеребца. Малафей осторожно обувал вороного в валенки. Помольцев и Никита не видели недоросля из-за спины гостей. Гости вдруг захохотали, завизжали и шарахнулись в разные стороны. Жеребец взметнул передние ноги выше головы хозяина, прыгнул, подбросил зад и понесся в ворота, спотыкаясь в стоптанных, старых катанках. Никита увидел длинные с прожелтью зубы, огненные глаза, синие космы гривы и потерял сознание. Жеребец сбил ребенка, рванул его всей пастью за грудь и наступил ему на правую ногу. Помольцев закричал диким голосом:

— Парня задавили, гады!

Безуглый на крик выбежал из дому. Помольцев нес на руках Никиту. Отец сразу заметил, что одна нога у сына неестественно вывернута.

Жеребец от мальчика шарахнулся на зазевавшуюся желтую собачонку, затоптал ее на-смерть и поскакал к коммунисту. Один катанок с передней ноги у него слетел. Он поэтому прихрамывал и мотал мордой. От него с кудахтаньем разлетались рябые куры, и, задрав хвосты, неуклюже взбрыкивали полным махом четыре теленка, бурые и лохматые, как медвежата. Безуглый, задыхаясь и бледнея, выхватил маузер. Револьвер прогремел дважды. Первая пуля пронизала у жеребца острое поротое ухо, вторая пробила лоб. Вороной упал на колени, ткнулся зубами в землю и завалился на бок. Селезенка у него громко екнула, точно в могучем брюхе лопнула крепкая, толстая жила. Над улицей повисла пыль, поднятая жеребцом, прозрачная как дым из револьвера Безуглого.

Гости Андрона, быстро трезвея, разбежались по домам. У Безуглого под окнами стали собираться любопытные. Никита напомнил коммунисту изломанного Федора на дне ущелья. Отец боялся прикоснуться к сыну. Ему казалось, что он холоден, как брат, погибший в Кобанде. Бабушка Анфия быстро раздела мальчика, ощупала у него голову, ребра, руки и ноги. Она обернулась к отцу и сказала:

— Перелом правой ноги выше щиколотки, на груди выкушен левый сосок, остальное все цело.

Старуха в свое время кончила курсы сестер милосердия, поэтому работала умело, без суеты. Она промыла и перевязала рану, сложила сломанную ногу и скрепила ее бинтом с двумя лучинами.

Помольцев растерянно топтался у порога и в десятый раз начинал и не кончал рассказ о пьяном жеребце.

— Этта мы идем с Никитушкой, а он как вылетит... Я, значит, туда, а он подался сюда...

Безуглый послал его отогнать от окон праздных зрителей и попросил сходить в сельсовет за подводой. Надо было немедленно везти сына в больницу.

Никита застонал, открыл глаза. Безуглый подошел к нему, взял за руку. Рука была чуть теплая, влажная и липкая от растаявшей недоеденной конфеты. Ребенок заметил слезы на глазах отца, заплакал. Безуглый уткнул голову в подушку, затрясся от рыданий. Он был уверен, что Никита на всю жизнь останется калекой. Бабушка закричала на него:

— Уйдите, Иван Федорович, от ребенка! Вы его без нужды расстраиваете. Смотрите, какой он молодец.

Никита перестал плакать, сказал отцу:

— Не реви, тятя, я оздоровею.

Безуглый выскочил на улицу. Он бесцельно закружился по двору, стал заглядывать в окна. Бабушка от мух закрыла лицо ребенку кисеей. Никита под покрывалом побледнел и пожелтел, как покойник. Отец со страхом смотрел на его неподвижный профиль и часто вытирал глаза. В больницу Никиту увезла бабушка Анфия.

Безуглый нехотя пожал руку Леонтия Леонтьевича Желаева. Он обругал себя за медлительность с перевыборами сельсовета. Желаев и Помольцев стояли у порога. Он подал им стулья.

— Я вызвал вас для производства обыска у гражданина Морева.

У Желаева дернулись бесцветные щетинистые брови.

— Разве что заметили за им? Мужик он будто справный.

— Мы должны будем арестовать его независимо от результатов обыска.

— Чем он вас прогневил, Иван Федорович? Вы ведь у него и от белых спасались, и на охоту с им ездили.

— Он мне предлагал сегодня взятку — раз, пытался шантажировать меня — два, спрятал хлеб — три. Я думаю, что сельсовет не может оставить без внимания и историю с жеребцом.

Безуглый подтянул ремни у сапог, пощупал в кармане маузер, надел фуражку. Он не дал мыслям о сыне снова овладеть собой.

Желаев сказал:

— Жеребец, можно сказать, был первый производитель по всему сельсовету.

Безуглый посмотрел на него с изумлением. Он не мог разобрать, издевался Желаев или просто не понимал, что речь шла не о лошади.

На улице Безуглый стиснул в кармане кривую рукоятку револьвера. Ни одной мысли о сыне. Он должен думать только о деле. Сын поправится. Нога срастется правильно.

Малафей успел ободрать вороного. Конь лежал голый, черный от крови. Около трупа грызлись собаки. Безуглый отвернулся.

Бабушка Анфия — надежная сиделка. Никита не может умереть. Довольно о нем.

Дома застали только Андрона с женой и Малафея. Безуглый попросил хозяина открыть амбары и кладовки. Обыск был непродолжителен. Закромы оказались совершенно пустыми. Морев не оставил ничего даже мышам. Коммунист спросил кулака:

— Где у вас спрятан хлеб?

Андрон стоял среди двора, накручивал на палец бороду и смотрел на темное небо.

— Бог дал, бог и взял.

— Не валяйте дурака.

— Дураков из нас советская власть сделала, Иван Федорович.

Безуглый услышал шопотки и хихиканье за воротами. На улице около дома шмыгали друзья и сочувствующие.

В узкой ограде заднего двора с ревом носились и стучали рогами коровы, опоенные пьяной медовухой. В стайке валялась врастяжку опьяневшая двадцатипудовая свинья и блаженно взвизгивала.

Коммунист приказал кулаку принести топор и пешню. В голобец они спустились вдвоем. Желаев с Помольцевым остались в горнице. Председатель сельсовета жадно потянул в себя воздух, пропитанный запахом медового пива и воска. Лепестинья Филимоновна поставила на стол туяс. Желаев зачерпнул ковш и торопливо выпил, обливая щеки и рубаху. Помольцев покосился на люк в подполье и тоже опрокинул одну посудину. Лепестинья Филимоновна стояла, подперев рукой подбородок, тихо всхлипывала. Малафей, разинув рот, прислушивался к голосам отца и коммуниста. В большом доме было тихо. За окнами только усиливались шум и разговоры. На стеклах плющились носы соседей.

В голобце Андрон обмяк, разрыхлел, растаявшей восковой куклой повалился в ноги Безуглому. Борода его липкими медовыми струями растекалась по сапогам коммуниста.

— Федорыч, дружок... помиримся... у меня всем хватит... ничего для тебя не пожалею...

Безуглый высвободил из рук кержака свои ноги.

— Не тратьте напрасно время.

Андрон по голосу коммуниста понял, что никакие просьбы и обещания до него не дойдут. Он встал с пола взлохмаченный, багровый. Фонарь с тонкой восковой

свечкой слабо и неровно освещал лицо кержака. Безуглый не видел его глаз. Пальцы Андрона судорожно вздрагивали на топорище. Безуглый бессознательно опустил руку в карман, на маузер. Они стояли молча друг против друга. Один — с топором, другой — с револьвером. Мгновение было долгим и тягостным. Андрон вздохнул со стоном.

— Спас ты меня от медвежьей казни, видно, на муку вечную.

— Ломайте стену.

Морев повернулся спиной к Безуглому, осторожно отодрал топором несколько досок, пешней продолбил глинобитную перегородку. Свет фонаря упал на серые тугие мешки с зерном. Коммунист спросил:

— Пшеница?

— Сортованная, зерно к зерну.

— Зачем спрятали?

— Свое спрятал, Иван Федорыч, не краденое.

— От кого спрятали?

— От воров.

— От каких воров?

— Воры известно какие, которых замки ни днем ни ночью не держат, которы хрестьянина грабят и его же без стыда, без совести расхитителем объявляют.

Андрон нагнулся за топором. Безуглый навел ему на грудь револьвер.

— Положите. Он вам больше не нужен.

Морев засопел, разжал пальцы. Топор стукнулся об пол.

— Зря, командер, испужался. Я жить еще не соскучился.

— Поднимайтесь наверх.

В горнице кержак открыл окно и заговорил громко, чтобы его услышали на улице:

— Пиши, Леонтий Леонтьич, протокол . . .

Желаев заерзал на лавке.

— Наше дело маленькое, Андрон Агатимыч, как играют, так и пляшем.

— Пиши так и так, мол, нашли у крестьянина Морева в голобце хлеб, который он сам посеял, сам со своего поля собрал...

Безуглый перебил его:

— Прошу не заниматься контрреволюционной агитацией. Вы арестованы. Товарищ Помольцев, отведите гражданина Морева в сельсовет.

Андрон деланно засмеялся.

— По каким-таким статьям-законам меня за мое кровное добро в каталажку?

— Вы привлекаетесь к ответственности по 107-й статье за скрытие в спекулятивных целях хлебных излишков и за ряд других преступлений, о которых с вами подробно поговорит судебный следователь.

Малафей зашмыгал носом. Лепестинья Филимоновна заголосила, запричитала.

— Змея лютого на груди у себя пригрел ты, мой Андрон Агатимыч... Не послушался ты тогда меня, бабу глупую...

Морев строго посмотрел на нее и сказал:

— Мольчи, не позорься перед народом. За свое страдаем, не за чужое.

Он надел, похожую на пирог, длинную войлочную шляпу.

— Сухарей насуши. Путь мне дальняя.

Андрон с подчеркнутым спокойствием сошел с крыльца, перекрестился на восток, поклонился дому, амбарам, стайкам и народу за воротами.

— Граждане, вор и злодей Андронка Морев прощения просит. Добром моим теперь честные люди распорядются.

Он подошел к раскрытому окну.

— Иван Федорыч, счастливо вам оставаться в моем доме. Жизня, милый дружок, загогулина не простая. Гляди, еще повстречаемся мы с тобой.

В толпе кто-то крикнул:

— На трудящихся руку подымают!

Толпа смолчала. Лицо у Морева окаменело. Помольцев шел сзади со своей ржавой берданкой подмышкой. Кулак спросил конвоира:

— Нефед Никифорович, бороду мне сейчас будешь резать на мушки, аль повременишь, покудов меня расстреляют?

Помольцев слова не проронил до самого сельсовета.

Безуглый высунулся из окна, фонарем осветил столпившихся у дома. Головы поникли. Бороды завиляли лохматыми собачьими хвостами. Сообщники Андрона, укрыватели его хлеба, его родственники, дружки стояли перед коммунистом в величайшем молчании.

Безуглый захлопнул окно. Он ни к кому больше не пошел с обыском. У него созрел другой план. В доме Морева коммунист сидел до рассвета, составлял подробную опись имущества.

Телеграмма мужа о несчастьи с Никитой была для Анны новым неожиданным горем в день ее выезда из Улалы. Она и без того чувствовала себя плохо. После слета селькоров Анна ходила во врачебную комиссию. Она хотела прервать свою беременность. Разрешения на аборт не дали. Анна обратилась к бабке. Бабка сделала ей операцию вязальной спицей.

Анна приехала в Белые Ключи осунувшаяся, бледная, с темными подглазицами. Итонин увидел ее в окно, крикнул:

— Бурнашева, зайди ко мне на минутку!

Анна попросила ямщика остановиться.

В избе у Игонина были Улитин, Рукобилов и учительница Алехина. Игонин сказал Анне:

— Видишь, весь актив в сборе. Других членов я не собирал.

Он внимательно посмотрел на нее.

— Дело у нас узкое, касаемое твоего мужа.

Игонин передал ей все разговоры о Безуглом, начавшиеся в селе после приезда Шеболтасова с фуражкой коммуниста. Анна, не задумываясь, возразила:

— Вры. Никакой он не помещик. Кто с бандами в двадцать первом году воевал? Вы сдурели, чего ли?

Игонин отвел ее довод.

— У нас некоторые красные партизаны из партии повыходили и кулаками стали. Мало ли кто кем был, надо поглядеть кто он есть на самом деле.

Анна совсем побелела.

— Головой ручаюсь за Ивана Федоровича.

Она стала кусать свои посиневшие губы.

Игонин постучал по столу трубкой.

— Голова тебе твоя еще годится, не торопись. Ячейка хотит узнать, баба ты, мужняя жена, или сознательный член партии? Подписывай на него заявление.

Улитин подал Бурнашевой исписанный лист бумаги. Она узнала руку Алехиной. В заявлении коммунисты из Белых Ключей просили областную контрольную комиссию начать следствие против Безуглого. Игонин сказал Анне:

— Мне, думаешь, легко было, когда Морев пришел с его фуражкой? Я и так и эдак прикидывал. Социальное происхождение, может быть, еще и не факт. Ну, а кепку из песни не выкинешь. Одним словом, обязаны мы обследствовать все дело.

Бурнашева положила бумагу на стол.

— Вы его спрашивали?

— Кого?

— Ивана Федоровича.

Улитин поддержал Анну.

— Товарищи, на самом деле, надо добавить к заявлению и его показания. Нам с ним в прятки играть нечего. Поручим Игонину расспросить его начистоту.

Все согласились с Улитиным. Анна сморщилась от боли в животе, пошла к двери. Игонин закричал ей вслед:

— Смотри, ему пока не заикайся!

Анна с трудом влезла в ходок. Безуглого испугали ее ввалившиеся щеки и невеселые, чужие глаза. Он сначала объяснил все болезнью Никиты, потом увидел, что она и сама нездорова.

Анна разожгла самовар, умылась и легла на кровать. Безуглый устроился рядом на стуле. Она тихо сказала ему:

— Погубила я себя, Иван Федорович.

Он встрепенулся, схватил ее за руку.

— Неладно мне бабка выкидыш сделала.

— Почему ты не пошла к врачу?

Анна облизала сухие синие губы.

— Доктора отказали. У тебя, говорят, муж есть, и можешь ты воспитать дите.

— Совершенно верно. Я был бы только рад. Почему ты со мной не посоветовалась?

Анна протянула к нему руки, взяла его за голову.

— Боялась я, уедешь ты опять на семь лет, бросишь меня брюхатую... учиться мне охота смертная... Одной с грудным, знаешь, какое учение...

Безуглый поцеловал ее холодный и влажный лоб.

— Дурочка ты моя маленькая.

Она прижала его голову к своей груди.

— Нехорошо про тебя в селе говорят,

— Знаю.
— Ты пил у Агапова?
— Здорово напился малиновой настойки.
— Фуражку спьяна бросил?
— Сам не разберу.
— Как так?
— В другой раз поговорим, все это дело выеденного яйца не стоит.

Анна приподнялась на подушке.

— Гляди мне в глаза.

Безуглый покраснел, но взгляда не отвел.

— Баб у тебя много было, а жена одна. Не должен ты врать жене. Объясни мне всю свою родовую.

Безуглый встал и раздраженно ответил:

— Мать — прачка, отец — бурлак. Все остальное — сплетни.

Он вышел в сени, принес скипевший самовар. Анна медлено поднялась с постели, села к столу.

— Тошнехонько мне. Оба мы с Никитой ровно под одну машину угодили.

Она застонала.

— Никита если жив останется, женись на Сухорословой. На городской женишься, мальчонке плохо будет.

У Безуглого стали медленно холодеть руки. Он отвернулся к окну.

— Не говори глупостей. Я тебя лечиться в Москву отправлю.

К окну подошел Игонин, приложил руку к козырьку фуражки.

— Можно к вам, Иван Федорович?

Безуглый почувствовал в голосе и в глазах у него неприятную сухость. Игонин присел на край стула, от чая отказался.

— Мне нужно задать вам несколько вопросов по поручению бюро ячейки.

— Вы хотите узнать о приключениях моей фуражки и о том, кто был мой отец?

Игонин не донес до рта руку с трубкой.

— Вам Анна Антоновна рассказала о собрании актива?

— Ничего она мне ни о каком собрании не рассказывала.

— Откуда вы тогда узнали, зачем я пришел.

— Неужели для этого надо быть ясновидцем? Все село обо мне болтает. Сейчас жена допрашивала.

Безуглый вскочил со стула.

— Все чепуха, дорогой товарищ Игонин. Вы в праве, конечно, спросить у меня объяснения. Со своей стороны я написал в ГПУ об Агапове. Вам следует для прекращения всяких кривотолков возбудить в партийном порядке против меня дело. Завтра утром в письменной форме я дам ответы на все ваши вопросы.

Безуглый разговаривал с Игониным и не спускал с него глаз. Он точно искал в его наружности новые, враждебные себе, черты. Игонин сидел прежний — широкоскулый, с косо прорезанными глазами, с толстым носом, и, непотухающий вулкан, любимая трубка дымилась в его руке. Безуглый видел, что он стал для Игонина другим человеком. Он вдруг почувствовал вокруг себя глухую пустоту. Можно, конечно, было протянуть руку и погладить по голове Анну. Она наверное даже улыбнулась бы ему. Сам он только никогда ей больше не поверит, что у нее нет в голове затаенного вопроса: «А кто тебя знает?..» Игонин держался совсем как следователь.

В тяжелые для партии дни Безуглый бормотал или напевал свою спасительную формулу — препятствия, преодоление, победа. Себя теперь утешить ей он не мог.

Он знал, что его социальное происхождение не имело особенного значения. В партию иногда принимали и выходцев из других классов. Мог и Безуглый родиться в усадьбе помещика. Никогда его никто бы этим не попрекнул. Все разговоры, на первый взгляд пустячные, приобретали значимость оттого, что возникло подозрение в его честности. Он скрыл свое происхождение, обманул партию. Одна мать знала правду. Кто поверит ей после революции?

Сам по себе ничтожный случай с фуражкой тоже разрастался в событие, подобно снежному кому, пущенному с горы. Ни одной контрольной комиссии в мире Безуглый не смог бы толком объяснить, почему он оставил у Агапова свою кепку. Самым правдоподобным оказалось бы утверждение, что он был пьян. Коммунист не мог с этим согласиться, так как утром он встал совершенно трезвым. Вообще опьянение было незначительным и кратковременным. Он проспал на крыльце у кулака два-три часа, вот и все.

Анна зажгла лампу.

Из окна тянуло свежей сыростью и запахом пихты с горьковатым привкусом дыма. Дым шел от костров, разложенных во дворах для варки ужина. Село затихало. Вода реки с шумом вертела ворчащие каменные колеса вечной мельницы. На высоких полях, в спеющем хлебе, перепела отбивали звонкие секунды, коростели каждую минуту передергивали хриплую цепочку неостанавливающихся часов.

Часы эти Безуглый слушал и раньше. Он никогда не думал всерьез, что они отсчитывают и его сроки. Сейчас он с радостью ощутил неотвратимую мощь времени. Мысль о смерти впервые возникла в его сознании. Она была горька и сладостна.

Анна, кажется, тянет последние дни. Никита может отправиться за ней. Он жил без них, почему теперь... Тогда у него было дело, за которое он боролся всю жизнь... Не будут его исключать из партии... Ну да, останутся только омерзительные шопотки: «А кто его знает? ..»

Безуглый выглянул в окно. Луну закрыла лохматая, черная туча. Она вздыбилась над горами, словно гривастое длиннозубое, безглазое чудище в стоптанных катанках. На село от него легла широкая и длинная тень. Коммунист пристально посмотрел на Анну и на Игонина. Ему показалось, что и у них потемнели лица.

В узком квадрате окна тихо появилась голова старшего сына Ефросиньи Пантюхиной — комсомольца Павла. Комсомолец глядел на задумавшегося Безуглого.

— Уполномоченный, заснул?

Безуглый чуть вздрогнул. Павел пожал ему руку.

— Выдь на улку. Дело есть к тебе.

Они вышли все втроем. Комсомолец сказал:

— Слышите?

Сквозь размеренный шум реки прорывались тихие, скребущие звуки лопат, визг свиней и мык коров.

— Хлеб гады прячут. Скот уничтожают.

Анна прислушалась и сказала:

— Мелентий Аликандрович старается.

Павел возразил:

— Один рази он?

Игонин зашептал Безуглому:

— Ровно германец на фронте окопы роет, скотину у поляка шевелит.

В селе сильно пахло палениной.

Безуглый, как командир в строю, приказал:

— Товарищ Игонин, соберите всех надежных коммунистов и комсомольцев.

Игонин успел сделать только один шаг. В рыхлую, тишину ночи гулко рухнул выстрел, загрохотал по улицам села. Около сельсовета кричал дежурный исполнитель:

— Убег! Держитя!

За околицей рассыпалась бешеная дробь копыт.

Второй выстрел был тише. Коммунисты услышали звон железа и взвизг рикошетирующей пули. Игонин крикнул:

— По стремю угодал... созвенело... может, коня охватил по брюху!

Андрон не чувствовал, что пуля оторвала у него мизинец на левой ноге. Он стегал на обе стороны длинным поводом и бил ногами своего гнедого мерина.

Безуглый пожал плечами.

— Ну, что же, в горах одним медведем стало больше.

Пантюхин закричал, выбегая из ворот:

— Догоним!

Андрон Морев скакал далеко в горах. Конь под ним храпел и задыхался. В селе его верные солдаты рыли подземные склады, резали скот, ломали ставшие ненужными орудия земледельца. Они готовились к длительной осаде.

На двор к Безутлому собирались люди с трехлинейками и берданками. На всех улицах скрипели ворота, ржали лошади, звенели стремена. Коммунисты седлали коней.

Конец первой книги.